

**МИХАИЛ
БУЛГАКОВ**

СБОРНИК

Михаил Булгаков

М. А. Булгаков. Сборник

«наследники Булгакова М.»

Булгаков М. А.

М. А. Булгаков. Сборник / М. А. Булгаков — «наследники Булгакова М.»,

«Белая гвардия» – не просто роман, но своеобразная хроника времени – хроника, увиденная сквозь призму восприятия «детей страшных лет России». Судьба издерганной дворянской семьи, задыхающейся в кровавом водовороте гражданской войны, под пером Булгакова обретает черты эпической трагедии всей русской интеллигенции – трагедии, отголоски которой доносятся до нас и теперь...

Содержание

Белая гвардия	5
Часть I	5
1	5
2	7
3	18
4	28
5	32
6	42
7	58
Часть II	65
8	65
9	71
10	76
11	84
Часть III	97
12	97
Конец ознакомительного фрагмента.	100

Михаил Булгаков

Белая гвардия

Посвящается

Любови Евгеньевне Белозерской

Часть I

Пошел мелкий снег и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось с снежным морем. Все исчезло.

– Ну, барин, – закричал ямицик, – беда: буран!

«Капитанская дочка»

И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими...

1

Велик был год и страшен год по рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй. Был он обилен летом солнцем, а зимою снегом, и особенно высоко в небе стояли две звезды: звезда пастушеская – вечерняя Венера и красный, дрожащий Марс.

Но дни и в мирные и в кровавые годы летят как стрела, и молодые Турбины не заметили, как в крепком морозе наступил белый, мохнатый декабрь. О, елочный дед наш, сверкающий снегом и счастьем! Мама, светлая королева, где же ты?

Через год после того, как дочь Елена повенчалась с капитаном Сергеем Ивановичем Тальбергом, и в ту неделю, когда старший сын, Алексей Васильевич Турбин, после тяжких походов, службы и бед вернулся на Украину в Город, в родное гнездо, белый гроб с телом матери снесли по крутому Алексеевскому спуску на Подол, в маленькую церковь Николая Доброго, что на Взвозе.

Когда отпевали мать, был май, вишневые деревья и акации наглухо залепили стрельчатые окна. Отец Александр, от печали и смущения спотыкающийся, блестел и искрился у золотеньких огней, и дьякон, лиловый лицом и шеей, весь ковано-золотой до самых носков сапог, скрипящих на ранту, мрачно рокотал слова церковного прощания маме, покидающей своих детей.

Алексей, Елена, Тальберг, и Анюта, выросшая в доме Турбиной, и Николка, оглушенный смертью, с вихром, нависшим на правую бровь, стояли у ног старого коричневого святителя Николы. Николкины голубые глаза, посаженные по бокам длинного птичьего носа, смотрели растерянно, убито. Изредка он возводил их на иконостас, на тонуший в полумраке свод алтаря, где возносился печальный и загадочный старик бог, моргал. За что такая обида? Несправедливость? Зачем понадобилось отнять мать, когда все съехались, когда наступило облегчение?

Улетающий в черное, потрескавшееся небо бог ответа не давал, а сам Николка еще не знал, что все, что ни происходит, всегда так, как нужно, и только к лучшему.

Отпели, вышли на гулкие плиты паперти и проводили мать через весь громадный город на кладбище, где под черным мраморным крестом давно уже лежал отец. И маму закопали. Эх... эх...

* * *

Много лет до смерти, в доме № 13 по Алексеевскому спуску, изразцовая печка в столовой грела и растила Еленку маленькую, Алексея старшего и совсем крошечного Николку. Как часто читался у пышущей жаром изразцовой площади «Саардамский Плотник», часы играли гавот, и всегда в конце декабря пахло хвоей, и разноцветный парафин горел на зеленых ветвях. В ответ бронзовым, с гавотом, что стоят в спальне матери, а ныне Еленки, били в столовой черные стенные башенным боем. Покупал их отец давно, когда женщины носили смешные, пузырчатые у плеч рукава. Такие рукава исчезли, время мелькнуло, как искра, умер отец-профессор, все выросли, а часы остались прежними и били башенным боем. К ним все так привыкли, что, если бы они пропали как-нибудь чудом со стены, грустно было бы, словно умер родной голос и ничем пустого места не заткнешь. Но часы, по счастью, совершенно бессмертны, бессмертен и «Саардамский Плотник», и голландский изразец, как мудрая скала, в самое тяжкое время живительный и жаркий.

Вот этот изразец, и мебель старого красного бархата, и кровати с блестящими шишечками, потертые ковры, пестрые и малиновые, с соколом на руке Алексея Михайловича, с Людовиком XIV, нежащимся на берегу шелкового озера в райском саду, ковры турецкие с чудными завитушками на восточном поле, что мерещились маленькому Николке в бреду скарлатины, бронзовая лампа под абажуром, лучшие на свете шкапы с книгами, пахнущими таинственным старинным шоколадом, с Наташей Ростовской, Капитанской Дочкой, золоченые чашки, серебро, портреты, портьеры, – все семь пыльных и полных комнат, вырастивших молодых Турбиных, все это мать в самое трудное время оставила детям и, уже задыхаясь и слабея, цепляясь за руку Елены плачущей, молвила:

– Дружно... живите.

Но как жить? Как же жить?

Алексею Васильевичу Турбину, старшему, – молодому врачу – двадцать восемь лет. Елене – двадцать четыре. Мужу ее, капитану Тальбергу, – тридцать один, а Николке – семнадцать с половиной. Жизнь-то им как раз перебило на самом рассвете. Давно уже начало мести с севера, и метет, и метет, и не перестает, и чем дальше, тем хуже. Вернулся старший Турбин в родной город после первого удара, потрясшего горы над Днепром. Ну, думается, вот перестанет, начнется та жизнь, о которой пишется в шоколадных книгах, но она не только не начинается, а кругом становится все страшнее и страшнее. На севере воеет и воеет вьюга, а здесь под ногами глухо погромыхивает, ворчит встревоженная утроба земли. Восемнадцатый год летит к концу и день ото дня глядит все грознее и щетинистей.

Упадут стены, улетит встревоженный сокол с белой рукавицы, потухнет огонь в бронзовой лампе, а Капитанскую Дочку сожгут в печи. Мать сказала детям:

– Живите.

А им придется мучиться и умирать.

Как-то, в сумерки, вскоре после похорон матери, Алексей Турбин, придя к отцу Александру, сказал:

– Да, печаль у нас, отец Александр. Трудно маму забывать, а тут еще такое тяжелое время. Главное, ведь только что вернулся, думал, наладим жизнь, и вот...

Он умолк и, сидя у стола, в сумерках, задумался и посмотрел вдаль. Ветви в церковном дворе закрыли и домишко священника. Казалось, что сейчас же за стеной тесного кабинетика, забитого книгами, начинается весенний, таинственный спутанный лес. Город по-вечернему глухо шумел, пахло сиренью.

– Что сделаешь, что сделаешь, – конфузливо забормотал священник. (Он всегда конфузился, если приходилось беседовать с людьми.) – Воля божья.

– Может, кончится все это, когда-нибудь? Дальше-то лучше будет? – неизвестно у кого спросил Турбин.

Священник шевельнулся в кресле.

– Тяжкое, тяжкое время, что говорить, – пробормотал он, – но унывать-то не следует...

Потом вдруг наложил белую руку, выпростав ее из темного рукава ряски, на пачку книжек и раскрыл верхнюю, там, где она была заложена вышитой цветной закладкой.

– Уныния допускать нельзя, – конфузливо, но как-то очень убедительно проговорил он. – Большой грех – уныние... Хотя кажется мне, что испытания будут еще. Как же, как же, большие испытания, – он говорил все увереннее. – Я последнее время все, знаете ли, за книжечками сижу, по специальности, конечно, больше всего богословские...

Он приподнял книгу так, чтобы последний свет из окна упал на страницу, и прочитал:

– «Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод; и сделалась кровь».

2

Итак, был белый, мохнатый декабрь. Он стремительно подходил к половине. Уже отсвет рождества чувствовался на снежных улицах. Восемнадцатому году скоро конец.

Над двухэтажным домом № 13, постройки изумительной (на улице квартира Турбиных была во втором этаже, а в маленький, покатый, уютный дворик – в первом), в саду, что лепился под крутейшей горой, все ветки на деревьях стали лапчаты и обвисли. Гору замело, засыпало сарайчики во дворе, и стала гигантская сахарная голова. Дом накрыло шапкой белого генерала, и в нижнем этаже (на улице – первый, во двор под верандой Турбиных – подвальный) засветился слабенькими желтенькими огнями инженер и трус, буржуй и несимпатичный, Василий Иванович Лисович, а в верхнем – сильно и весело загорелись турбинские окна.

В сумерки Алексей и Николка пошли за дровами в сарай.

– Эх, эх, а дров до черта мало. Опять сегодня вытащили, смотри.

Из Николкиного электрического фонарика ударил голубой конус, а в нем видно, что обшивка со стены явно содрана и снаружи наскоро прибита.

– Вот бы подстрелить, чертей! Ей-богу. Знаешь что: сядем на эту ночь в караул? Я знаю – это сапожники из одиннадцатого номера. И ведь какие негодяи! Дров у них больше, чем у нас.

– А ну их... Идем. Бери.

Ржавый замок запел, осыпался на братьев пласт, поволокли дрова. К девяти часам вечера к изразцам Саардама нельзя было притронуться.

Замечательная печь на своей ослепительной поверхности несла следующие исторические записи и рисунки, сделанные в разное время восемнадцатого года рукою Николки тушью и полные самого глубокого смысла и значения:

Если тебе скажут, что союзники спешат к нам на выручку, – не верь.

Союзники – сволочи.

Он сочувствует большевикам.

Рисунок: рожа Момуса.

Подпись:

Улан Леонид Юрьевич.

Слухи грозные, ужасные,
Наступают банды красные!

Рисунок красками: голова с отвисшими усами, в папаче с синим хвостом.

Подпись:

Бей Петлюру!

Руками Елены и нежных и старинных турбинских друзей детства – Мышлаевского, Карася, Шервинского – красками, тушью, чернилами, вишневым соком записано:

Елена Васильна любит нас сильно.

Кому – на, а кому – не.

Леночка, я взял билет на Аиду.

Бельэтаж № 8, правая сторона.

1918 года, мая 12 дня я влюбился.

Вы толстый и некрасивый.

После таких слов я застрелюсь.

(Нарисован весьма похожий браунинг.)

Да здравствует Россия!

Да здравствует самодержавие!

Июнь. Баркарола.

Недаром помнит вся Россия

Про день Бородина.

Печатными буквами, рукою Николки:

Я таки приказываю посторонних вещей на печке не писать под угрозой расстрела всякого товарища с лишением прав. Комиссар Подольского района. Дамский, мужской и женский портной Абрам Пружинер.

1918 года, 30-го января

Пышут жаром разрисованные изразцы, черные часы ходят, как тридцать лет назад: тонк-танк. Старший Турбин, бритый, светловолосый, постаревший и мрачный с 25 октября 1917 года, во френче с громадными карманами, в синих рейтузах и мягких новых туфлях, в любимой позе – в кресле с ногами. У ног его на скамеечке Николка с вихром, вытянув ноги почти до буфета, – столовая маленькая. Ноги в сапогах с пряжками. Николкина подруга, гитара, нежно и глухо: трень... Неопределенно трень... потому что пока что, видите ли, ничего еще толком не известно. Тревожно в Городе, туманно, плохо...

На плечах у Николки унтер-офицерские погоны с белыми нашивками, а на левом рукаве остроугольный трехцветный шеврон. (Дружина первая, пехотная, третий ее отдел. Формируется четвертый день, ввиду начинающихся событий.)

Но, несмотря на все эти события, в столовой, в сущности говоря, прекрасно. Жарко, уютно, кремовые шторы задернуты. И жар согревает братьев, рождает истому.

Старший бросает книгу, тянется.

– А ну-ка, сыграй «Съемки»...

Трень-та-там... Трень-та-там...

Сапоги фасонные,
Бескозырки тонные,
То юнкера-инженеры идут!

Старший начинает подпевать. Глаза мрачны, но в них зажигается огонек, в жилах – жар. Но тихонько, господа, тихонько, тихонечко.

Здравствуйте, дачники,
Здравствуйте, дачницы...

Гитара идет маршем, со струн сыплет рота, инженеры идут – ать, ать! Николкины глаза вспоминают:

Училище. Облупленные александровские колонны, пушки. Ползут юнкера на животиках от окна к окну, отстреливаются. Пулеметы в окнах.

Туча солдат осадила училище, ну, форменная туча. Что поделаешь. Испугался генерал Богородицкий и сдался, сдался с юнкерами. Па-а-зор...

Здравствуйте, дачницы,
Здравствуйте, дачники,
Съемки у нас давно уж начались.

Туманятся Николкины глаза.

Столбы зноя над червонными украинскими полями. В пыли идут пылью пудренные юнкерские роты. Было, было все это и вот не стало. Позор. Чепуха.

Елена раздвинула портьеру, и в черном просвете показалась ее рыжеватая голова. Братьям послала взгляд мягкий, а на часы очень и очень тревожный. Оно и понятно. Где же, в самом деле, Тальберг? Волнуется сестра.

Хотела, чтобы это скрыть, подпеть братьям, но вдруг остановилась и подняла палец.

– Погодите. Слышите?

Оборвала рота шаг на всех семи струнах: сто-ой! Все трое прислушались и убедились – пушки. Тяжело, далеко и глухо. Вот еще раз: бу-у... Николка положил гитару и быстро встал, за ним, кряхтя, поднялся Алексей.

В гостиной – приемной совершенно темно. Николка наткнулся на стул. В окнах настоящая опера «Ночь под рождество» – снег и огонечки. Дрожат и мерцают. Николка прильнул к окошку. Из глаз исчез зной и училище, в глазах – напряженнейший слух. Где? Пожал унтер-офицерскими плечами.

– Черт его знает. Впечатление такое, что будто под Святошиным стреляют. Странно, не может быть так близко.

Алексей во тьме, а Елена ближе к окошку, и видно, что глаза ее черно-испуганны. Что же значит, что Тальберга до сих пор нет? Старший чувствует ее волнение и поэтому не говорит ни слова, хоть сказать ему и очень хочется. В Святошине. Сомнений в этом никаких быть не может. Стреляют, 12 верст от города, не дальше. Что за штука?

Николка взялся за шпингалет, другой рукой прижал стекло, будто хочет выдавить его и вылезть, и нос расплющил.

– Хочется мне туда поехать. Узнать, в чем дело...

– Ну да, тебя там не хватало...

Елена говорит в тревоге. Вот несчастье. Муж должен был вернуться самое позднее, слышите ли – самое позднее, сегодня в три часа дня, а сейчас уже десять.

В молчании вернулись в столовую. Гитара мрачно молчит. Николка из кухни тащит самовар, и тот поет зловеще и плюется. На столе чашки с нежными цветами снаружи и золотые внутри, особенные, в виде фигурных колоннок. При матери, Анне Владимировне, это был праздничный сервиз в семействе, а теперь у детей пошел на каждый день. Скатерть, несмотря на пушки и все это томление, тревогу и чепуху, бела и крахмальна. Это от Елены, которая не может иначе, это от Анюты, выросшей в доме Турбиных. Полы лоснятся, и в декабре, теперь, на столе, в матовой колонной вазе, голубые гортензии и две мрачных и знойных розы, утверждающие красоту и прочность жизни, несмотря на то что на подступах к Городу – коварный враг, который, пожалуй, может разбить снежный, прекрасный Город и осколки покоя растоптать каблуками. Цветы. Цветы – приношение верного Елениного поклонника, гвардии поручика Леонида Юрьевича Шервинского, друга продавщицы в конфетной знаменитой «Маркизе», друга продавщицы в уютном цветочном магазине «Нищкая флора». Под тенью гортензий тарелочка с синими узорами, несколько ломтиков колбасы, масло в прозрачной масленке, в сухарнице пила-фраже и белый продолговатый хлеб. Прекрасно можно было бы закусить и выпить чайку, если б не все эти мрачные обстоятельства... Эх... эх...

На чайнике верхом едет гарусный пестрый петух, и в блестящем боку самовара отражаются три изуродованных турбинских лица, и щеки Николкины в нем как у Момуса.

В глазах Елены тоска, и пряди, подернутые рыжеватым огнем, уныло обвисли.

Застрял где-то Тальберг со своим денежным гетманским поездом и погубил вечер. Черт его знает, уж не случилось ли, чего доброго, чего-нибудь с ним?... Братья вяло жуют бутерброды. Перед Еленой остывающая чашка и «Господин из Сан-Франциско». Затуманенные глаза, не видя, глядят на слова: «...мрак, океан, вьюгу».

Не читает Елена.

Николка наконец не выдерживает:

– Желал бы я знать, почему так близко стреляют? Ведь не может же быть...

Сам себя прервал и исказился при движении в самоваре. Пауза. Стрелка переползает десятую минуту и – тонк-танк – идет к четверти одиннадцатого.

– Потому стреляют, что немцы – мерзавцы, – неожиданно бурчит старший.

Елена поднимает голову на часы и спрашивает:

– Неужели, неужели они оставят нас на произвол судьбы? – Голос ее тосклив.

Братья, словно по команде, поворачивают головы и начинают лгать.

– Ничего не известно, – говорит Николка и обкусывает ломтик.

– Это я так сказал, гм... предположительно. Слухи.

– Нет, не слухи, – упрямо отвечает Елена, – это не слух, а верно; сегодня видела Щеглову, и она сказала, что из-под Бородинки вернули два немецких полка.

– Чепуха.

– Подумай сама, – начинает старший, – мыслимое ли дело, чтобы немцы подпустили этого прохвоста близко к городу? Подумай, а? Я лично решительно не представляю, как они с ним уживутся хотя бы одну минуту. Полнейший абсурд. Немцы и Петлюра. Сами же они его называют не иначе как бандит. Смешно.

– Ах, что ты говоришь. Знаю я теперь немцев. Сама уже видела нескольких с красными бантами. И унтер-офицер пьяный с бабой какой-то. И баба пьяная.

– Ну мало ли что? Отдельные случаи разложения могут быть даже и в германской армии.

– Так, по-вашему, Петлюра не войдет?

– Гм... По-моему, этого не может быть.

– Апсольман. Налей мне, пожалуйста, еще одну чашечку чаю. Ты не волнуйся. Соблюдай, как говорится, спокойствие.

– Но боже, где же Сергей? Я уверена, что на их поезд напали и...

– И что? Ну что выдумываешь зря? Ведь эта линия совершенно свободна.

– Почему же его нет?

– Господи боже мой. Знаешь же сама, какая езда. На каждой станции стояли, наверное, по четыре часа.

– Революционная езда. Час едешь – два стоишь.

Елена, тяжело вздохнув, поглядела на часы, помолчала, потом заговорила опять:

– Господи, господи! Если бы немцы не сделали этой подлости, все было бы отлично. Двух их полков достаточно, чтобы раздавить этого вашего Петлюру, как муху. Нет, я вижу, немцы играют какую-то подлую двойную игру. И почему же нет хваленых союзников? У-у, негодяи. Обещали, обещали...

Самовар, молчавший до сих пор, неожиданно запел, и угольки, подернутые седым пеплом, вывалились на поднос. Братья невольно посмотрели на печку. Ответ – вот он. Пожалуйста:

Союзники – сволочи.

Стрелка остановилась на четверти, часы солидно хрипнули и пробили – раз, и тотчас же часам ответил залиvistый, тонкий звон под потолком в передней.

– Слава богу, вот и Сергей, – радостно сказал старший.

– Это Тальберг, – подтвердил Николка и побежал отворять.

Елена порозовела, встала.

Но это оказался вовсе не Тальберг. Три двери прогремели, и глухо на лестнице прозвучал Николкин удивленный голос. Голос в ответ. За голосами по лестнице стали переваливаться кованые сапоги и приклад. Дверь в переднюю впустила холод, и перед Алексеем и Еленой очутилась высокая, широкоплечая фигура в серой шинели до пят и в защитных погонах с тремя поручичьими звездами химическим карандашом. Башлык заиндевел, а тяжелая винтовка с коричневым штыком заняла всю переднюю.

– Здравствуйте, – пропела фигура хриплым тенором и заочеченными пальцами ухватила за башлык.

– Витя!

Николка помог фигуре распутать концы, капюшон слез, за капюшоном блин офицерской фуражки с потемневшей кокардой, и оказалась над громадными плечами голова поручика Виктора Викторовича Мышлаевского. Голова эта была очень красива, странной и печальной и привлекательной красотой давней, настоящей породы и вырождения. Красота в разных по цвету, смелых глазах, в длинных ресницах. Нос с горбинкой, губы гордые, лоб бел и чист, без особых примет. Но вот один уголок рта приспущен печально, и подбородок косовато срезан так, словно у скульптора, лепившего дворянское лицо, родилась дикая фантазия откусить пласт глины и оставить мужественному лицу маленький и неправильный женский подбородок.

– Откуда ты?

– Откуда?

– Осторожнее, – слабо ответил Мышлаевский, – не разбей. Там бутылка водки.

Николка бережно повесил тяжелую шинель, из кармана которой выглядывало горлышко в обрывке газеты. Затем повесил тяжелый маузер в деревянной кобуре, покачнув стойку с оленьими рогами. Тогда лишь Мышлаевский повернулся к Елене, руку поцеловал и сказал:

– Из-под Красного Трактира. Позволь, Лена, ночевать. Не дойду домой.

– Ах, боже мой, конечно.

Мышлаевский вдруг застонал, пытался подуть на пальцы, но губы его не слушались. Белые брови и поседевшая инеем бархатка подстриженных усов начали таять, лицо намокло. Турбин-старший расстегнул френч, прошелся по шву, вытягивая грязную рубашку.

– Ну, конечно... Полно. Кишат.

– Вот что, – испуганная Елена засуетилась, забыла Тальберга на минуту. – Николка, там в кухне дрова. Беги зажигай колонку. Эх, горе-то, что Анюту я отпустила. Алексей, снимай с него френч, живо.

В столовой у изразцов Мышлаевский, дав волю стонам, повалился на стул. Елена забежала и загремела ключами. Турбин и Николка, став на колени, стягивали с Мышлаевского узкие щегольские сапоги с пряжками на икрах.

– Легче... Ох, легче...

Размотались мерзкие, пятнистые портянки. Под ними лиловые шелковые носки. Френч Николка тотчас отправил на холодную веранду – пусть дохнут вши. Мышлаевский, в грязнейшей батистовой сорочке, перекрещенной черными подтяжками, в синих бриджах со штрипками, стал тонкий и черный, больной и жалкий. Посиневшие ладони зашлепали, зашарили по изразцам.

Слух... грозн...

Наст... банд...

Влюбился... мая...

– Что ж это за подлецы! – закричал Турбин. – Неужели же они не могли дать вам валенки и полшубки?

– Ва-аленки, – плача, передразнил Мышлаевский, – вален...

Руки и ноги в тепле взрезала нестерпимая боль. Услыхав, что Еленины шаги стихли в кухне, Мышлаевский яростно и слезливо крикнул:

– Кабак!

Сипя и корчась, повалился и, тыча пальцами в носки, простонал:

– Снимите, снимите, снимите...

Пахло противным денатуратом, в тазу таяла снежная гора, от винного стаканчика водки поручик Мышлаевский опьянел мгновенно до мути в глазах.

– Неужели же отрезать придется? Господи... – Он горько закачался в кресле.

– Ну, что ты, погоди. Ничего... Так. Приморозил большой. Так... отойдет. И этот отойдет.

Николка присел на корточки и стал натягивать чистые черные носки, а деревянные, негнущиеся руки Мышлаевского полезли в рукава купального мохнатого халата. На щеках расцвели алые пятна, и, скорчившись, в чистом белье, в халате, смягчился и ожил помороженный поручик Мышлаевский. Грозные матерные слова запрыгали в комнате, как град по подоконнику. Скосив глаза к носу, ругал похабными словами штаб в вагонах первого класса, какого-то полковника Щеткина, мороз, Петлюру и немцев, и метель, и кончил тем, что самого гетмана всея Украины обложил гнуснейшими площадными словами.

Алексей и Николка смотрели, как лязгал зубами согревающийся поручик, и время от времени вскрикивали: «Ну-ну».

– Гетман, а? Твою мать! – рычал Мышлаевский. – Кавалергард? Во дворце? А? А нас погнажи, в чем были. А? Сутки на морозе в снегу... Господи! Ведь думал – пропадем все... К матери! На сто саженой офицер от офицера – это цепь называется? Как кур чуть не зарезали!

– Постой, – ошалевая от брани, спрашивал Турбин, – ты скажи, кто там, под Трактиром?

– Ат! – Мышлаевский махнул рукой. – Ничего не поймешь! Ты знаешь, сколько нас было под Трактиром? Со-рок человек. Приезжает эта лахудра – полковник Щеткин и говорит (тут Мышлаевский перекошил лицо, стараясь изобразить ненавистного ему полковника Щеткина, и заговорил противным, тонким и сюсюкающим голосом): «Господа офицеры, вся надежда Города на вас. Оправдайте доверие гибнущей матери городов русских, в случае появления неприятеля – переходите в наступление, с нами бог! Через шесть часов дам смену. Но патроны

прошу беречь...» (Мышлаевский заговорил своим обыкновенным голосом) – и смылся на машине со своим адъютантом. И темно, как в ж...! Мороз. Иголками берет.

– Да кто же там, господи! Ведь не может же Петлюра под Трактиром быть?

– А черт их знает! Веришь ли, к утру чуть с ума не сошли. Стали это мы в полночь, ждем смены... Ни рук, ни ног. Нету смены. Костров, понятное дело, разжечь не можем, деревня в двух верстах. Трактир – верста. Ночью чудится: поле шевелится. Кажется – ползут... Ну, думаю, что будем делать?... Что? Вскинешь винтовку, думаешь – стрелять или не стрелять? Искушение. Стояли, как волки выли. Крикнешь – в цепи где-то отзовется. Наконец зарылся в снег, нарыл себе прикладом гроб, сел и стараюсь не заснуть: заснешь – каюк. И под утро не вытерпел, чувствую – начинаю дремать. Знаешь, что спасло? Пулеметы. На рассвете, слышу, верстах в трех по-ехало! И ведь, представь, вставать не хочется. Ну, а тут пушка забухала. Поднялся, словно на ногах по пуду, и думаю: «Поздравляю, Петлюра пожаловал». Стянули маленько цепь, перекликаемся. Решили так: в случае чего, собьемся в кучу, отстреливаться будем и отходить на Город. Перебьют – перебьют. Хоть вместе по крайней мере. И, вообрази, – стихло. Утром начали по три человека в Трактир бегать греться. Знаешь, когда смена пришла? Сегодня в два часа дня. Из первой дружины человек двести юнкеров. И, можешь себе представить, прекрасно одеты – в папахах, в валенках и с пулеметной командой. Привел их полковник Най-Турс.

– А! Наш, наш! – вскричал Николка.

– Погоди-ка, он не белградский гусар? – спросил Турбин.

– Да, да, гусар... Понимаешь, глянули они на нас и ужаснулись: «Мы думали, что вас тут, говорят, роты две с пулеметами, как же вы стояли?»

Оказывается, вот эти-то пулеметы, это на Серебрянку под утро навалилась банда, человек в тысячу, и повела наступление. Счастье, что они не знали, что там цепь вроде нашей, а то, можешь себе представить, утром вся эта орава в Город могла сделать визит. Счастье, что у тех была связушка с Постом-Волынским, – дали знать, и оттуда их какая-то батарея обкатила шрапнелью, ну, пыл у них и угас, понимаешь, не довели наступление до конца и расточились куда-то, к чертям.

– Но кто такие? Неужели же Петлюра? Не может этого быть.

– А, черт их душу знает. Я думаю, что это местные мужички-богоносцы достоевские! у... вашу мать!

– Господи боже мой!

– Да-с, – хрипел Мышлаевский, посасывая папиросу, – сменились мы, слава те, господи.

Считаем: тридцать восемь человек. Поздравьте: двое замерзли. К свиньям. А двух подобрали, ноги будут резать...

– Как! Насмерть?

– А что ж ты думал? Один юнкер да один офицер. А в Попелюхе, это под Трактиром, еще красивее вышло. Поперли мы туда с подпоручиком Красиным сани взять, везти помороженных. Деревушка словно вымерла – ни одной души. Смотрим, наконец ползет какой-то дед в тулупе, с клюкой. Вообрази – глянул на нас и обрадовался. Я уж тут сразу почувствовал недоброе. Что такое, думаю? Чего этот богоносный хрен возликовал: «Хлопчики... хлопчики...» Говорю ему таким сдобным голоском: «Здорово, дид. Давай скорее сани». А он отвечает: «Нема. Офицерня уси сани угнала на Пост». Я тут мигнул Красину и спрашиваю: «Офицерня? Тэк-с. А дэж вси ваши хлопци?» А дед и ляпни: «Уси побиглы до Петлюры». А? Как тебе нравится? Он-то сослепу не разглядел, что у нас погоны под башлыками, и за петлюровцев нас принял. Ну, тут, понимаешь, я не вытерпел... Мороз... Остервенился... Взял деда этого за манишку, так что из него чуть душа не выскочила, и кричу: «Побиглы до Петлюры? А вот я тебя сейчас пристрелю, так ты узнаешь, как до Петлюры бегают! Ты у меня сбегашь в царство небесное, стерва!» Ну, тут, понятное дело, святой землепашец, сеятель и хранитель (Мышла-

евский, словно обвал камней, спустил страшное ругательство), прозрел в два счета. Конечно, в ноги и орет: «Ой, ваше высокоблагородие, извините меня, старика, це я сдуру, сослепу, дам коней, заразд дам, тильки не вбивайте!» И лошади нашлись, и розвальни.

Нуте-с, в сумерки пришли на Пост. Что там делается – уму непостижимо. На путях четыре батареи насчитал, стоят неразвернутые, снарядов, оказывается, нет. Штабов нет числа. Никто ни черта, понятное дело, не знает. И главное – мертвых некуда деть! Нашли, наконец, перевязочную летучку, веришь ли, силой свалили мертвых, не хотели брать: «Вы их в Город везите». Тут уж мы озверели. Красин хотел пристрелить какого-то штабного. Тот сказал: «Это, говорит, петлюровские приемы». Смылся. К вечеру только нашел наконец вагон Щеткина. Первого класса, электричество... И что ж ты думаешь? Стоит какой-то холуй денщицкого типа и не пускает. А? «Они, говорит, сплять. Никого не велено принимать». Ну, как я двину прикладом в стену, а за мной все наши подняли грохот. Из всех купе горошком выскочили. Вылез Щеткин и заегозил: «Ах, боже мой. Ну конечно же. Сейчас. Эй, вестовые, щей, коньяку. Сейчас мы вас разместим. П-полный отдых. Это геройство. Ах, какая потеря, но что делать – жертвы. Я так измучился...» И коньяком от него на версту. А-а-а! – Мышлаевский внезапно зевнул и клюнул носом. Забормотал, как во сне:

– Дали отряду теплушку и печку... О-о! А мне свезло. Очевидно, решил отделаться от меня после этого грохота. «Командирую вас, поручик, в Город. В штаб генерала Картузова. Доложите там». Э-э-э! Я на паровоз... очоценел... замок Тамары... водка...

Мышлаевский выронил папиросу изо рта, откинулся и захрапел сразу.

– Вот так здорово, – сказал растерянный Николка.

– Где Елена? – озабоченно спросил старший. – Нужно будет ему простыню дать, ты веди его мыться.

Елена же в это время плакала в комнате за кухней, где за ситцевой занавеской, в колонке, у цинковой ванны, металось пламя сухой наколотой березы. Хриплые кухонные часишки настучали одиннадцать. И представился убитый Тальберг. Конечно, на поезд с деньгами напали, конвой перебили, и на снегу кровь и мозг. Елена сидела в полумгле, смятый венец волос пронизало пламя, по щекам текли слезы. Убит. Убит...

И вот тоненький звоночек затрепетал, наполнил всю квартиру. Елена бурей через кухню, через темную книжную, в столовую. Огни ярче. Черные часы забили, затикали, пошли ходунном.

Но Николка со старшим угасли очень быстро после первого взрыва радости. Да и радость-то была больше за Елену. Скверно действовали на братьев клиновидные, гетманского военного министерства погоны на плечах Тальберга. Впрочем, и до погон еще, чуть ли не с самого дня свадьбы Елены, образовалась какая-то трещина в вазе турбинской жизни, и добрая вода уходила через нее незаметно. Сух сосуд. Пожалуй, главная причина этому в двухслойных глазах капитана генерального штаба Тальберга, Сергея Ивановича...

Эх-эх... Как бы там ни было, сейчас первый слой можно было читать ясно. В верхнем слое простая человеческая радость от тепла, света и безопасности. А вот поглубже – ясная тревога, и привез ее Тальберг с собою только что. Самое же глубокое было, конечно, скрыто, как всегда. Во всяком случае, на фигуре Сергея Ивановича ничего не отразилось. Пояс широк и тверд. Оба значка – академии и университета – белыми головками сияют ровно. Поджарая фигура поворачивается под черными часами, как автомат. Тальберг очень озяб, но улыбается всем благосклонно. И в благосклонности тоже сказалась тревога. Николка, шмыгнув длинным носом, первый заметил это. Тальберг, вытягивая слова, медленно и весело рассказал, как на поезд, который вез деньги в провинцию и который он конвоировал, у Бородянки, в сорока верстах от Города, напали – неизвестно кто! Елена в ужасе жмурилась, жалась к значкам, братья опять вскрикивали «ну-ну», а Мышлаевский мертво храпел, показывая три золотых коронки.

– Кто ж такие? Петлюра?

– Ну, если бы Петлюра, – снисходительно и в то же время тревожно улыбнувшись, молвил Тальберг, – вряд ли я бы здесь беседовал... э... с вами. Не знаю кто. Возможно, разложившиеся сердюки. Ворвались в вагоны, винтовками взмахивают, кричат: «Чей конвой?» Я ответил: «Сердюки», – они потоптались, потоптались, потом слышу команду: «Слазь, хлопцы!» И все исчезли. Я полагаю, что они искали офицеров, вероятно, они думали, что конвой не украинский, а офицерский, – Тальберг выразительно покосился на Николкин шеврон, глянул на часы и неожиданно добавил: – Елена, пойдём-ка на пару слов...

Елена торопливо ушла вслед за ним на половину Тальбергов в спальню, где на стене над кроватью сидел сокол на белой рукавице, где мягко горела зеленая лампа на письменном столе Елены и стояли на тумбе красного дерева бронзовые пастушки на фронтоне часов, играющих каждые три часа гавот.

Неимоверных усилий стоило Николке разбудить Мышлаевского. Тот по дороге шатался, два раза с грохотом зацепился за двери и в ванне заснул. Николка дежурил возле него, чтобы он не утонул. Турбин же старший, сам не зная зачем, прошел в темную гостиную, прижался к окну и слушал: опять далеко, глухо, как в вату, и безобидно бухали пушки, редко и далеко.

Елена рыжеватая сразу постарела и подурнела. Глаза красные. Свесив руки, печально она слушала Тальберга. А он сухой штабной колонной возвышался над ней и говорил неумолимо:

– Елена, никак иначе поступить нельзя.

Тогда Елена, помирившись с неизбежным, сказала так:

– Что ж, я понимаю. Ты, конечно, прав. Через дней пять-шесть, а? Может, положение еще изменится к лучшему?

Тут Тальбергу пришлось трудно. И даже свою вечную патентованную улыбку он убрал с лица. Оно постарело, и в каждой точке была совершенно решенная дума. Елена... Елена. Ах, неверная, зыбкая надежда... Дней пять... шесть...

И Тальберг сказал:

– Нужно ехать сию минуту. Поезд идет в час ночи...

...Через полчаса все в комнате с соколом было разорено. Чемодан на полу и внутренняя матросская крышка его дыбом. Елена, похудевшая и строгая, со складками у губ, молча вкладывала в чемодан сорочки, кальсоны, простыни. Тальберг, на коленях у нижнего ящика шкафа, ковырял в нем ключом. А потом... потом в комнате противно, как во всякой комнате, где хаос укладки, и еще хуже, когда абажур сдернут с лампы. Никогда. Никогда не сдергивайте абажур с лампы! Абажур священен. Никогда не убегайте крысёй побегой на неизвестность от опасности. У абажура дремлите, читайте – пусть воеет вьюга, – ждите, пока к вам придут.

Тальберг же бежал. Он возвышался, попирая обрывки бумаги, у застегнутого тяжелого чемодана в своей длинной шинели, в аккуратных черных наушниках, с гетманской серо-голубой кокардой и опоясан шашкой.

На дальнем пути Города-I, Пассажирского, уже стоит поезд – еще без паровоза, как гусеница без головы. В составе девять вагонов с ослепительно белым электрическим светом. В составе в час ночи уходит в Германию штаб генерала фон Буссова. Тальберга берут: у Тальберга нашлись связи... Гетманское министерство – это глупая и пошлая оперетка (Тальберг любил выражаться тривиально, но сильно), как, впрочем, и сам гетман. Тем более пошлая, что...

– Пойми (шепот), немцы оставляют гетмана на произвол судьбы, и очень, очень может быть, что Петлюра войдет. В сущности, у Петлюры есть здоровые корни. В этом движении на стороне Петлюры мужицкая масса, а это, знаешь ли...

О, Елена знала! Елена отлично знала. В марте 1917 года Тальберг был первый, – поймите, первый, – кто пришел в военное училище с широченной красной повязкой на рукаве. Это было в самых первых числах, когда все еще офицеры в Городе при известиях из Петербурга становились кирпичными и уходили куда-то в темные коридоры, чтобы ничего не слышать. Тальберг как член революционного военного комитета, а не кто иной, арестовал знаменитого гене-

рала Петрова. Когда же к концу знаменитого года в Городе произошло уже много чудесных и странных событий и родились в нем какие-то люди, не имеющие сапог, но имеющие широкие шаровары, выглядывающие из-под солдатских серых шинелей, и люди эти заявили, что они не пойдут ни в коем случае из Города на фронт, потому что на фронте им делать нечего, что они останутся здесь, в Городе, ибо это их Город, украинский город, а вовсе не русский, Тальберг сделался раздражительным и сухо заявил, что это не то, что нужно, пошлая оперетка. И он оказался до известной степени прав: вышла действительно оперетка, но не простая, а с большим кровопролитием. Людей в шароварах в два счета выгнали из Города серые разрозненные полки, которые пришли откуда-то из-за лесов, с равнины, ведущей к Москве. Тальберг сказал, что те, в шароварах, – авантюристы, а корни в Москве, хоть эти корни и большевистские.

Но однажды, в марте, пришли в Город серыми шеренгами немцы, и на головах у них были рыжие металлические тазы, предохранявшие их от шрапнельных пуль, а гусары ехали в таких мохнатых шапках и на таких лошадях, что при взгляде на них Тальберг сразу понял, где корни. После нескольких тяжелых ударов германских пушек под Городом московские смылись куда-то за сизые леса есть дохлятину, а люди в шароварах притащились обратно, вслед за немцами. Это был большой сюрприз. Тальберг растерянно улыбался, но ничего не боялся, потому что шаровары при немцах были очень тихие, никого убивать не смели и даже сами ходили по улицам как бы с некоторой опаской, и вид у них был такой, словно у неуверенных гостей. Тальберг сказал, что у них нет корней, и месяца два нигде не служил. Николка Турбин однажды улыбнулся, войдя в комнату Тальберга. Тот сидел и писал на большом листе бумаги какие-то грамматические упражнения, а перед ним лежала тоненькая, отпечатанная на дешевой серой бумаге книжонка:

«Игнатий Перпилло – Украинская грамматика».

В апреле восемнадцатого, на Пасхе, в цирке весело гудели матовые электрические шары и было черно до купола народом. Тальберг стоял на арене веселой, боевой колонной и вел счет рук – шароварам крышка, будет Украина, но Украина «гетьманская», – выбирали «гетьмана всея Украины».

– Мы отгорожены от кровавой московской оперетки, – говорил Тальберг и блеснул в странной гетманской форме дома, на фоне милых, старых обоев. Давились презрительно часы: тонк-танк, и вылилась вода из сосуда. Николке и Алексею не о чем было говорить с Тальбергом. Да и говорить было бы очень трудно, потому что Тальберг очень сердился при каждом разговоре о политике, и в особенности в тех случаях, когда Николка совершенно бестактно начинал: «А как же ты, Сережа, говорил в марте...» У Тальберга тотчас показывались верхние, редко расставленные, но крупные и белые зубы, в глазах появлялись желтенькие искорки, и Тальберг начинал волноваться. Таким образом, разговоры вышли из моды сами собой.

Да, оперетка... Елена знала, что значит это слово на припухших прибалтийских устах. Но теперь оперетка грозила плохим, и уже не шароварам, не московским, не Ивану Ивановичу какому-нибудь, а грозила она самому Сергею Ивановичу Тальбергу. У каждого человека есть своя звезда, и недаром в средние века придворные астрологи составляли гороскопы, предсказывали будущее. О, как мудры были они! Так вот, у Тальберга, Сергея Ивановича, была неподходящая, неудачливая звезда. Тальбергу было бы хорошо, если бы все шло прямо, по одной определенной линии, но события в это время в Городе не шли по прямой, они проделывали причудливые зигзаги, и тщетно Сергей Иванович старался угадать, что будет. Он не угадал. Далеко еще, верст сто пятьдесят, а может быть, и двести, от Города, на путях, освещенных белым светом, – салон-вагон. В вагоне, как зерно в стручке, болтался бритый человек, диктуя своим писарям и адъютантам на странном языке, в котором с большим трудом разбирался даже сам Перпилло. Горе Тальбергу, если этот человек придет в Город, а он может прийти! Горе.

Номер газеты «Вести» всем известен, имя капитана Тальберга, выбиравшего гетмана, также. В газете статья, принадлежащая перу Сергея Ивановича, а в статье слова:

«Петлюра – авантюрист, грозящий своею опереткой гибелью краю...»

– Тебя, Елена, ты сама понимаешь, я взять не могу на скитанья и неизвестность. Не правда ли?

Ни звука не ответила Елена, потому что была горда.

– Я думаю, что мне беспрепятственно удастся пробраться через Румынию в Крым и на Дон... Фон Буссов обещал мне содействие. Меня ценят. Немецкая оккупация превратилась в оперетку. Немцы уже уходят. (Шепот.) Петлюра, по моим расчетам, тоже скоро рухнет. Настоящая сила идет с Дона. И ты знаешь, мне ведь даже нельзя не быть там, когда формируется армия права и порядка. Не быть – значит погубить карьеру, ведь ты знаешь, что Деникин был начальником моей дивизии. Я уверен, что не пройдет и трех месяцев, ну самое позднее – в мае, мы придем в Город. Ты ничего не бойся. Тебя ни в коем случае не тронут, ну, а в крайности, у тебя же есть паспорт на девичью фамилию. Я попрошу Алексея, чтобы тебя не дали в обиду.

Елена очнулась.

– Постой, – сказала она, – ведь нужно братьев сейчас предупредить о том, что немцы нас предадут?

Тальберг густо покраснел.

– Конечно, конечно, я обязательно... Впрочем, ты им сама скажи. Хотя ведь это дело меняет мало.

Странное чувство мелькнуло у Елены, но предаваться размышлению было некогда: Тальберг уже целовал жену, и было мгновение, когда его двухэтажные глаза пронизало только одно – нежность. Елена не выдержала и всплакнула, но тихо, тихо, – женщина она была сильная, недаром дочь Анны Владимировны. Потом произошло прощание с братьями в гостиной. В бронзовой лампе вспыхнул розовый свет и залил весь угол. Пианино показало уютные белые зубы и партитуру «Фауста» там, где черные нотные закорючки идут густым черным строем и разноцветный рыжебородый Валентин поет:

Я за сестру тебя молю,
Сжался, о, сжался ты над ней!
Ты охраняй ее.

Даже Тальбергу, которому не были свойственны никакие сентиментальные чувства, запомнились в этот миг и черные аккорды, и истрепанные страницы вечного «Фауста». Эх, эх... Не придется больше услышать Тальбергу каватины про бога всемогущего, не услышать, как Елена играет Шервинскому аккомпанемент! Все же, когда Турбиных и Тальберга не будет на свете, опять зазвучат клавиши, и выйдет к рампе разноцветный Валентин, в ложах будет пахнуть духами, и дома будут играть аккомпанемент женщины, окрашенные светом, потому что «Фауст», как «Саардамский Плотник», – совершенно бессмертен.

Тальберг все рассказал тут же у пианино. Братья вежливо промолчали, стараясь не поднимать бровей. Младший из гордости, старший потому, что был человек-тряпка. Голос Тальберга дрогнул.

– Вы же Елену берегите, – глаза Тальберга в первом слое посмотрели просительно и тревожно. Он помялся, растерянно глянул на карманные часы и беспокойно сказал: – Пора.

Елена притянула к себе за шею мужа, перекрестила его торопливо и криво и поцеловала. Тальберг уколол обоих братьев щетками черных подстриженных усов. Тальберг, заглянув в бумажник, беспокойно проверил пачку документов, пересчитал в тощем отделении украинские бумажки и немецкие марки и, улыбаясь, напряженно улыбаясь и оборачиваясь, пошел. Дзень...

дзинь... в передней свет сверху, потом на лестнице гроыханье чемодана. Елена свесилась с перил и в последний раз увидела острый хохол башлыка.

В час ночи с пятого пути из тьмы, забитой кладбищами порожних товарных вагонов, с места взяв большую грохочущую скорость, пыша красным жаром поддувала, ушел серый, как жаба, бронепоезд и дико завыл. Он пробежал восемь верст в семь минут, попал на Пост-Волынский, в гвалт, стук, грохот и фонари, не задерживаясь, по прыгающим стрелкам свернул с главной линии вбок и, возбуждая в душах обмерзших юнкеров и офицеров, скорчившихся в теплушках и в цепях у самого Поста, смутную надежду и гордость, смело, никого решительно не боясь, ушел к германской границе. Следом за ним через десять минут прошел через Пост сияющий десятками окон пассажирский, с громадным паровозом. Тумбовидные, массивные, запакованные до глаз часовые-немцы мелькнули на площадках, мелькнули их широкие черные штыки. Стрелочники, давясь морозом, видели, как мотало на стыках длинные пульманы, окна бросали в стрелочников снопы. Затем все исчезло, и души юнкеров наполнились завистью, злобой и тревогой.

– У... с-с-волочь!.. – провыло где-то у стрелки, и на теплушки налетела жгучая вьюга. Заносило в эту ночь Пост.

А в третьем от паровоза вагоне, в купе, крытом полосатыми чехлами, вежливо и заискивающе улыбаясь, сидел Тальберг против германского лейтенанта и говорил по-немецки.

– О, ја, – тянул время от времени толстый лейтенант и пожевывал сигару.

Когда лейтенант заснул, двери во всех купе закрылись и в теплом и ослепительном вагоне настало монотонное дорожное бормотанье, Тальберг вышел в коридор, откинул бледную штору с прозрачными буквами «Ю.-З. ж. д.» и долго глядел в мрак. Там беспорядочно прыгали искры, прыгал снег, а впереди паровоз нес и завывал так грозно, так неприятно, что даже Тальберг расстроился.

3

В этот ночной час в нижней квартире домохозяина, инженера Василия Ивановича Лисовича, была полная тишина, и только мышь в маленькой столовой нарушала ее по временам. Мышь грызла и грызла, назойливо и деловито, в буфете старую корку сыра, проклиная скупость супруги инженера, Ванды Михайловны. Проклинаемая костлявая и ревнивая Ванда глубоко спала во тьме спальни прохладной и сырой квартиры. Сам же инженер бодрствовал и находился в своем тесно заставленном, занавешенном, набитом книгами и, вследствие этого, чрезвычайно уютном кабинетике. Стоячая лампа, изображающая египетскую царевну, прикрытую зеленым зонтиком с цветами, красила всю комнату нежно и таинственно, и сам инженер был таинственен в глубоком кожаном кресле. Тайна и двойственность зыбкого времени выражалась прежде всего в том, что был человек в кресле вовсе не Василий Иванович Лисович, а Василиса... То есть сам-то он называл себя – Лисович, многие люди, с которыми он сталкивался, называли его Василием Ивановичем, но исключительно в упор. За глаза же, в третьем лице, никто не называл инженера иначе как Василиса. Случилось это потому, что домовладелец с января 1918 года, когда в городе начались уже совершенно явственно чудеса, сменил свой четкий почерк и вместо определенного «В. Лисович», из страха перед какой-то будущей ответственностью, начал в анкетах, справках, удостоверениях, ордерах и карточках писать «Вас. Лис.».

Николка, получив из рук Василия Ивановича сахарную карточку восемнадцатого января восемнадцатого года, вместо сахара получил страшный удар камнем в спину на Крещатике и два дня плевал кровью. (Снаряд лопнул как раз над сахарной очередью, состоящей из бесстрашных людей.) Придя домой, держась за стенки и зеленея, Николка все-таки улыбнулся, чтобы не испугать Елену, наплевал полный таз кровяных пятен и на вопль Елены:

– Господи! Что же это такое?! – ответил:

– Это Василисин сахар, черт бы его взял! – и после этого стал белым и рухнул на бок. Николка встал через два дня, а Василия Ивановича Лисовича больше не было. Вначале двор номера тринадцатого, а за двором весь город начал называть инженера Василисой, и лишь сам владелец женского имени рекомендовался: председатель домового комитета Лисович.

Убедившись, что улица окончательно затихла, не слышалось уже редкого скрипа половиц, прислушавшись внимательно к свисту из спальни жены, Василиса отправился в переднюю, внимательно потрогал запоры, болт, цепочку и крюк и вернулся в кабинетик. Из ящика своего массивного стола он выложил четыре блестящих английских булавок. Затем на цыпочках сходил куда-то во тьму и вернулся с простыней и пледом. Еще раз прислушался и даже приложил палец к губам. Снял пиджак, засучил рукава, достал с полки клей в банке, аккуратно скатанный в трубку кусок обоев и ножницы. Потом прильнул к окну и под щитком ладони всмотрелся в улицу. Левое окно завесил простыней до половины, а правое пледом при помощи английских булавок. Заботливо оправил, чтобы не было щелей. Взял стул, влез на него и руками нашарил что-то, над верхним рядом книг на полке, провел ножичком вертикально вниз по обоям, а затем под прямым углом вбок, подsunул ножичек под разрез и вскрыл аккуратный, маленький, в два кирпича, тайничок, самим же им изготовленный в течение предыдущей ночи. Дверцу – тонкую цинковую пластинку – отвел в сторону, слез, пугливо поглядел на окна, потрогал простыню. Из глубины нижнего ящика, открытого двойным звенящим поворотом ключа, выглянул на свет божий аккуратно перевязанный крестом и запечатанный пакет в газетной бумаге. Его Василиса похоронил в тайнике и закрыл дверцу. Долго на красном сукне стола кроил и вырезал полоски, пока не подобрал их как нужно. Смазанные клейстером, они легли на разрез так аккуратно, что прелесть: полбукетика к полбукетику, квадратик к квадратика. Когда инженер слез со стула, он убедился, что на стене нет никаких признаков тайника. Василиса вдохновенно потер ладони, тут же скомкал и сжег в печурке остатки обоев, пепел размешал и спрятал клей.

На черной безлюдной улице волчья оборванная серая фигура беззвучно слезла с ветки акации, на которой полчаса сидела, страдая на морозе, но жадно наблюдая через предательскую щель над верхним краем простыни работу инженера, навлекшего беду именно простыней на зелено окрашенном окне. Пружинно прыгнув в сугроб, фигура ушла вверх по улице, а далее провалилась волчьей походкой в переулках, и метель, темнота, сугробы съели ее и замели все ее следы.

Ночь. Василиса в кресле. В зеленой тени он чистый Тарас Бульба. Усы вниз, пушистые – какая, к черту, Василиса! – это мужчина. В ящиках прозвучало нежно, и перед Василисой на красном сукне пачки продолговатых бумажек – зеленый игральный крап:

Знак Державної скарбниці
50 карбованців
ходить нарівні з кредитовими білетами.

На крапе – селянин с обвисшими усами, вооруженный лопатой, и селянка с серпом. На обороте, в овальной рамке, увеличенные, красноватые лица этого же селянина и селянки. И тут червячками усы вниз, по-украински. И надо всем предостерегающая надпись:

За фальшування карається тюрмою,
уверенная подпись:

Директор державної скарбниці Лебідь-Юрчик.

Конно-медный Александр II в трепаном чугунном мыле бакенбард, в конном строю, раздраженно косился на художественное произведение Лебідя-Юрчика и ласково – на лампу-царевну. Со стены на бумажки глядел в ужас чиновник со Станиславом на шее – предок Васи-

лисы, писанный маслом. В зеленом свете мягко блестели корешки Гончарова и Достоевского и мощным строем стоял золото-черный конногвардеец Брокгауз – Ефрон. Уют.

Пятипроцентный прочно спрятан в тайнике под обоями. Там же 15 «катеринок», 9 «петров», 10 «николаев первых», 3 бриллиантовых кольца, брошь, Анна и два Станислава.

В тайнике № 2 – 20 «катеринок», 10 «петров», 25 серебряных ложек, золотые часы с цепью, 3 портсигара («Дорогому сослуживцу», хоть Василиса и не курил), 50 золотых десятков, солонки, футляр с серебром на 6 персон и серебряное ситечко (большой тайник в дровяном сарае, два шага от двери прямо, шаг влево, шаг от меловой метки на бревне стены. Все в ящиках эйнемовского печенья, в клеенке, просмоленные швы, два аршина глубины).

Третий тайник – чердак: две четверти от трубы на северо-восток под балкой в глине: щипцы сахарные, 183 золотых десятки, на 25 000 процентных бумаг.

Лебідь-Юрчик – на текущие расходы.

Василиса оглянулся, как всегда делал, когда считал деньги, и стал слюнить крап. Лицо его стало боговдохновенным. Потом он неожиданно побледнел.

– Фальшування, фальшування, – злобно заворчал он, качая головой, – вот горе-то. А?

Голубые глаза Василисы убойно опечалились. В третьем десятке – раз. В четвертом десятке – две, в шестом – две, в девятом – подряд три бумажки несомненно таких, за которые Лебідь-Юрчик угрожает тюрьмой. Всего сто тринадцать бумажек, и, извольте видеть, на восьми явные признаки фальшування. И селянин какой-то мрачный, а должен быть веселый, и нет у снопа таинственных, верных – перевернутой запятой и двух точек, и бумага лучше, чем лебідевская. Василиса глядел на свет, и Лебідь явно фальшиво просвечивал с обратной стороны.

– Извозчику завтра вечером одну, – разговаривал сам с собой Василиса, – все равно ехать, и, конечно, на базар.

Он бережно отложил в сторону фальшивые, предназначенные извозчику и на базар, а пачку спрятал за звенящий замок. Вздрогнул. Над головой пробежали шаги по потолку, и мертвую тишину вскрыли смех и смутные голоса. Василиса сказал Александру II:

– Извольте видеть: никогда покою нет...

Вверху стихло. Василиса зевнул, погладил мочальные усы, снял с окон плед и простыню, зажег в гостиной, где тускло блестел граммофонный рупор, маленькую лампу. Через десять минут полная тьма была в квартире. Василиса спал рядом с женой в сырой спальне. Пахло мышами, плесенью, ворчливой сонной скукой. И вот, во сне, приехал Лебідь-Юрчик верхом на коне и какие-то Тушинские Воры с отмычками вскрыли тайник. Червонный валет влез на стул, плюнул Василисе в усы и выстрелил в упор. В холодном поту, с воплем вскочил Василиса, и первое, что услышал, – мышь с семейством, трудящуюся в столовой над кульком с сухарями, а затем уже необычайной нежности гитарный звон через потолок и ковры, смех...

За потолком пропел необыкновенной мощности и страсти голос, и гитара пошла маршем.

– Единственное средство – отказать от квартиры, – забарахтался в простынях Василиса, – это же немисливо. Ни днем, ни ночью нет покоя.

Идут и поют юнкера
Гвардейской школы!

– Хотя, впрочем, на случай чего... Оно верно, время-то теперь ужасное. Кого ещепустишь, неизвестно, а тут офицеры, в случае чего – защита-то и есть. Брысь! – крикнул Василиса на яростную мышь.

Гитара... гитара... гитара...

Четыре огня в столовой люстре. Знамена синего дыма. Кремовые шторы наглухо закрыли застекленную веранду. Часов не слышно. На белизне скатерти свежие букеты тепличных роз,

три бутылки водки и германские узкие бутылки белых вин. Лафитные стаканы, яблоки в сверкающих изломах ваз, ломтики лимона, крошки, крошки, чай...

На кресле скомканный лист юмористической газеты «Чертова кукла». Качается туман в головах, то в сторону несет на золотой остров беспричинной радости, то бросает в мутный вал тревоги. Глядят в тумане развязные слова:

Голым профилем на ежа не сядешь!

– Вот веселая сволочь... А пушки-то стихли. А-страумие, черт меня возьми! Водка, водка и туман. Ар-ра-та-там! – Гитара.

Арбуз не стоит печь на мыле,
Американцы победили.

Мышлаевский, где-то за завесой дыма, рассмеялся. Он пьян.

Игривы Брейтмана остроты,
И где же сенегальцев роты?

– Где же? В самом деле? Где же? – добивался мутный Мышлаевский.

Рожают овцы под брезентом,
Родзянко будет президентом.

– Но талантливы, мерзавцы, ничего не поделаешь!

Елена, которой не дали опомниться после отъезда Тальберга... от белого вина не пропадает боль совсем, а только тупеет, Елена на председательском месте, на узком конце стола, в кресле. На противоположном – Мышлаевский, мохнат, бел, в халате, и лицо в пятнах от водки и бешеной усталости. Глаза его в красных кольцах – стужа, пережитый страх, водка, злоба. По длинным граням стола с одной стороны Алексей и Николка, а с другой – Леонид Юрьевич Шервинский, бывшего лейб-гвардии уланского полка поручик, а ныне адъютант в штабе князя Белорукова, и рядом с ним подпоручик Степанов, Федор Николаевич, артиллерист, он же, по александровской гимназической кличке, – Карась.

Маленький, укладистый и действительно чрезвычайно похожий на карася, Карась столкнулся с Шервинским у самого подъезда Турбиных, минут через двадцать после отъезда Тальберга. Оба оказались с бутылками. У Шервинского сверток – четыре бутылки белого вина, у Карася – две бутылки водки. Шервинский, кроме того, был нагружен громаднейшим букетом, наглухо запакованным в три слоя бумаги, – само собой понятно, розы Елене Васильевне. Карась тут же, у подъезда, сообщил новость: на погонах у него золотые пушки, – терпенья больше нет, всем нужно идти драться, потому что из занятий в университете все равно ни пса не выходит, а если Петлюра приползет в город – тем более не выйдет. Всем нужно идти, а артиллеристам непременно в мортирный дивизион. Командир – полковник Малышев, дивизион замечательный, так и называется – студенческий. Карась в отчаянии, что Мышлаевский ушел в эту дурацкую дружину. Глупо. Стеройствовал, поспешил. И где он теперь, черт его знает. Может быть, даже и убили под городом...

Ан Мышлаевский оказался здесь, наверху!! Золотая Елена в полумраке спальни, перед овальной рамой в серебряных листьях, наскоро припудрила лицо и вышла принимать розы. Ур-ра! Все здесь. Карасевы золотые пушки на смятых погонах были форменным ничтожеством рядом с бледными кавалерийскими погонями и синими выутюженными бриджами Шервинского. В наглых глазах маленького Шервинского мячиками запрыгала радость при известии об

исчезновении Тальберга. Маленький улан сразу почувствовал, что он, как никогда, в голосе, и розоватая гостиная наполнилась действительно чудовищным ураганом звуков, пел Шервинский эпиталаму богу Гименею, и как пел! Да, пожалуй, все вздор на свете, кроме такого голоса, как у Шервинского. Конечно, сейчас штабы, эта дурацкая война, большевики, и Петлюра, и долг, но потом, когда все придет в норму, он бросает военную службу, несмотря на свои петербургские связи, вы знаете, какие у него связи – о-го-го... и на сцену. Петь он будет в La Scala и в Большом театре в Москве, когда большевиков повесят на фонарях на Театральной площади. В него влюбилась в Жмеринке графиня Лендрикова, потому что когда он пел эпиталаму, то вместо фа взял Ia и держал его пять тактов. Сказав – пять, Шервинский сам повесил немного голову и посмотрел кругом растерянно, как будто кто-то другой сообщил ему это, а не он сам.

– Тэк-с, пять. Ну ладно, идемте ужинать.

И вот знамена, дым...

– И где же сенегальцев роты? Отвечай, штабной, отвечай. Леночка, пей вино, золотая, пей. Все будет благополучно. Он даже лучше сделал, что уехал. Прoberется на Дон и приедет сюда с деникинской армией.

– Будут! – звякнул Шервинский. – Будут. Позвольте сообщить важную новость: сегодня я сам видел на Крещатике сербских квартирьеров, и послезавтра, самое позднее, через два дня, в Город придут два сербских полка.

– Слушай, это верно?

Шервинский стал бурым.

– Гм, даже странно. Раз я говорю, что сам видел, вопрос этот мне кажется неуместным.

– Два полка-а... что два полка...

– Хорошо-с, тогда не угодно ли выслушать. Сам князь мне говорил сегодня, что в одесском порту уже разгружаются транспорты: пришли греки и две дивизии сенегалов. Стоит нам продержаться неделю – и нам на немцев наплевать.

– Предатели!

– Ну, если это верно, вот Петлюру тогда поймать да повесить! Вот повесить!

– Своими руками застрелю.

– Еще по глотку. Ваше здоровье, господа офицеры!

Раз – и окончательный туман! Туман, господа. Николка, выпивший три бокала, бегал к себе за платком и в передней (когда никто не видит, можно быть самим собой) припал к вешалке. Кривая шашка Шервинского со сверкающей золотом рукоятью. Подарил персидский принц. Клинок дамасский. И принц не дарил, и клинок не дамасский, но верно – красивая и дорогая. Мрачный маузер на ремнях в кобуре, Карасев «стейер» – вороненое дуло. Николка припал к холодному дереву кобуры, трогал пальцами хищный маузеров нос и чуть не заплакал от волнения. Захотелось драться сейчас же, сию минуту, там, за Постом, на снежных полях. Ведь стыдно! Неловко... Здесь водка и тепло, а там мрак, буран, вьюга, замерзают юнкера. Что же они думают там в штабах? Э, дружина еще не готова, студенты не обучены, а сингалезов все нет и нет, вероятно, они, как сапоги, черные... Но ведь они же здесь померзнут, к свиньям? Они ведь привыкли к жаркому климату?

– Я б вашего гетмана, – кричал старший Турбин, – за устройство этой миленькой Украины, повесил бы первым! Хай живе вильна Украина вид Киева до Берлина! Полгода он издевался над русскими офицерами, издевался над всеми нами. Кто запретил формирование русской армии? Гетман. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман. Кто развел всю эту мразь с хвостами на головах? Гетман. А теперь, когда ухватило kota поперек живота, так начали формировать русскую армию? В двух шагах враг, а они дружины, штабы? Смотрите, ой, смотрите!

– Панику сеешь, – сказал хладнокровно Карась.

Турбин обозлился.

– Я? Панику? Вы меня просто понять не хотите. Вовсе не панику, а я хочу вылить все, что у меня накипело на душе. Панику? Не беспокойся. Завтра, я уже решил, я иду в этот самый дивизион, и если ваш Малышев не возьмет меня врачом, я пойду простым рядовым. Мне это осточертело! Не панику... – кусок огурца застрял у него в горле, он бурно закашлялся и задохся, и Николка стал колотить его по спине.

– Правильно! – скрепил Карась, стукнув по столу. – К черту рядовым – устроим врачом.

– Завтра полезем все вместе, – бормотал пьяный Мышлаевский, – все вместе. Вся Александровская императорская гимназия. Ура!

– Сволочь он, – с ненавистью продолжал Турбин, – ведь он же сам не говорит на этом проклятом языке! А? Я позавчера спрашиваю эту каналью, доктора Курицкого, он, извольте ли видеть, разучился говорить по-русски с ноября прошлого года. Был Курицкий, а стал Курицкий... Так вот спрашиваю: как по-украински «кот»? Он отвечает: «Кит». Спрашиваю: «А как кит?» А он остановился, вытаращил глаза и молчит. И теперь не кланяется.

Николка с треском захохотал и сказал:

– Слова «кит» у них не может быть, потому что на Украине не водятся киты, а в России всего много. В Белом море киты есть...

– Мобилизация, – ядовито продолжал Турбин, – жалко, что вы не видели, что делалось вчера в участках. Все валютчики знали о мобилизации за три дня до приказа. Здорово? И у каждого грыжа, у всех верхушка правого легкого, а у кого нет верхушки – просто пропал, словно сквозь землю провалился. Ну, а это, братцы, признак грозный. Если уж в кофейнях шепчутся перед мобилизацией и ни один не идет – дело швах! О, каналья, каналья! Да ведь если бы с апреля месяца он вместо того, чтобы ломать эту гнусную комедию с украинизацией, начал бы формирование офицерских корпусов, мы бы взяли теперь Москву. Поймите, что здесь, в Городе, он набрал бы пятидесятитысячную армию, и какую армию! Отборную, лучшую, потому что все юнкера, все студенты, гимназисты, офицеры, а их тысячи в Городе, все пошли бы с дороною душой. Не только Петлюры бы духу не было в Малороссии, но мы бы Троцкого прихлопнули бы в Москве, как муху. Самый момент: ведь там, говорят, кошек жрут. Он бы, сукин сын, Россию спас.

Турбин pokrылся пятнами, и слова у него вылетали изо рта с тонкими брызгами слюны. Глаза горели.

– Ты... ты... тебе бы, знаешь, не врачом, а министром быть обороны, право, – заговорил Карась. Он иронически улыбался, но речь Турбина ему нравилась и зажигала его.

– Алексей на митинге незаменимый человек, оратор, – сказал Николка.

– Николка, я тебе два раза уже говорил, что ты никакой остряк, – ответил ему Турбин, – пей-ка лучше вино.

– Ты пойми, – заговорил Карась, – что немцы не позволили бы формировать армию, они боятся ее.

– Неправда! – тоненько выкликнул Турбин. – Нужно только иметь голову на плечах, и всегда можно было бы столкнуться с гетманом. Нужно было бы немцам объяснить, что мы им не опасны. Кончено. Война нами проиграна. У нас теперь другое, более страшное, чем война, чем немцы, чем все на свете. У нас – Троцкий. Вот что нужно было сказать немцам: вам нужен сахар, хлеб? – берите, лопайте, кормите солдат. Подавитесь, но только помогите. Дайте формироваться, ведь это вам же лучше, мы вам поможем удержать порядок на Украине, чтобы наши богоносцы не заболели московской болезнью. И будь сейчас русская армия в Городе, мы бы железной стеной были отгорожены от Москвы. А Петлюру... к-х... – Турбин яростно закашлялся.

– Стой! – Шервинский встал. – Погоди. Я должен сказать в защиту гетмана. Правда, ошибки были допущены, но план у гетмана был правильный. О, он дипломат. Край украинский, здесь есть элементы, которые хотят балакать на этой мове своей, – пусть!

– Пять процентов, а девяносто пять – русских!..

– Верно. Но они сыграли бы роль э... э... вечного бродила, как говорит князь. Вот и нужно было их утихомирить. Впоследствии же гетман сделал бы именно так, как ты говоришь: русская армия, и никаких гвоздей. Не угодно ли? – Шервинский торжественно указал куда-то рукой. – На Владимирской улице уже развеваются трехцветные флаги.

– Опоздали с флагами!

– Гм, да. Это верно. Несколько опоздали, но князь уверен, что ошибка поправима.

– Дай бог, искренне желаю, – и Турбин перекрестился на икону божией матери в углу.

– План же был таков, – звучно и торжественно выговорил Шервинский, – когда война кончилась бы, немцы оправились бы и оказали бы помощь в борьбе с большевиками. Когда же Москва была бы занята, гетман торжественно положил бы Украину к стопам его императорского величества государя императора Николая Александровича.

После этого сообщения в столовой наступило гробовое молчание. Николка горестно побелел.

– Император убит, – прошептал он.

– Какого Николая Александровича? – спросил ошеломленный Турбин, а Мышлаевский, качнувшись, искоса глянул в стакан к соседу. Ясно: крепился, крепился и вот напился, как зонтик.

Елена, положившая голову на ладони, в ужасе посмотрела на улана.

Но Шервинский не был особенно пьян, он поднял руку и сказал мощно:

– Не спешите, а слушайте. Н-но, прошу господ офицеров (Николка покраснел и побледнел) молчать пока о том, что я сообщу. Ну-с, вам известно, что произошло во дворце императора Вильгельма, когда ему представлялась свита гетмана?

– Никакого понятия не имеем, – с интересом сообщил Карась.

– Ну-с, а мне известно.

– Тю! Ему все известно, – удивился Мышлаевский. – Ты ж не ездил...

– Господа! Дайте же ему сказать.

– После того, как император Вильгельм милостиво поговорил со свитой, он сказал: «Теперь я с вами прощаюсь, господа, а о дальнейшем с вами будет говорить...» Портьера раздвинулась, и в зал вошел наш государь. Он сказал: «Поезжайте, господа офицеры, на Украину и формируйте ваши части. Когда же настанет момент, я лично стану во главе армии и поведу ее в сердце России – в Москву», – и прослезился.

Шервинский светло обвел глазами все общество, залпом глотнул стакан вина и зажмурился. Десять глаз уставились на него, и молчание царствовало до тех пор, пока он не сел и не закусил ветчиной.

– Слушай... это легенда, – болезненно сморщившись, сказал Турбин. – Я уже слышал эту историю.

– Убиты все, – сказал Мышлаевский, – и государь, и государыня, и наследник.

Шервинский покосился на печку, глубоко набрал воздуха и молвил:

– Напрасно вы не верите. Известие о смерти его императорского величества...

– Несколько преувеличено, – спяна сострил Мышлаевский.

Елена возмущенно дрогнула и показалась из тумана.

– Витя, тебе стыдно. Ты офицер.

Мышлаевский нырнул в туман.

– ...вымышлено самими же большевиками. Государю удалось спастись при помощи его верного гувернера... то есть, виноват, гувернера наследника, мосье Жильяра, и нескольких офицеров, которые вывезли его... э... в Азию. Оттуда они проехали в Сингапур и морем в Европу. И вот государь ныне находится в гостях у императора Вильгельма.

– Да ведь Вильгельма же тоже выкинули? – начал Карась.

– Они оба в гостях в Дании, с ними же и августейшая мать государя, Мария Федоровна. Если ж вы мне не верите, то вот-с: сообщил мне это лично сам князь.

Николкина душа стонала, полная смятения. Ему хотелось верить.

– Если это так, – вдруг восторженно заговорил он и вскочил, вытирая пот со лба, – я предлагаю тост: здоровье его императорского величества! – Он блеснул стаканом, и золотые граненые стрелы пронзили германское белое вино. Шпоры загремели о стулья. Мышлаевский поднялся, качаясь и держась за стол. Елена встала. Золотой серп ее развился, и пряди обвисли на висках.

– Пусть! Пусть! Пусть даже убит, – надломленно и хрипло крикнула она. – Все равно. Я пью. Я пью.

– Ему никогда, никогда не простится его отречение на станции Дно. Никогда. Но все равно, мы теперь научены горьким опытом и знаем, что спасти Россию может только монархия. Поэтому, если император мертв, да здравствует император! – Турбин крикнул и поднял стакан.

– Ур-ра! Ур-ра! Ур-ра-а!! – трижды в грохоте пронеслось по столовой.

Василиса вскочил вниз в холодном поту. Со сна он завопил истошным голосом и разбудил Ванду Михайловну.

– Боже мой... бо... бо... – бормотала Ванда, цепляясь за его сорочку.

– Что же это такое? Три часа ночи! – завопил, плача, Василиса, адресуясь к черному потолку. – Я жаловаться наконец буду!

Ванда захныкала. И вдруг оба окаменели. Сверху явственно, просачиваясь сквозь потолок, выплывала густая масляная волна, и над ней главенствовал мощный, как колокол, звенящий баритон:

...си-ильный, де-ержавный,
царрр-ствуй на славу...

Сердце у Василисы остановилось, и вспотели цыганским потом даже ноги. Суконно шевеля языком, он забормотал:

– Нет... они, того, душевнобольные... Ведь они нас под такую беду могут подвести, что не расхлебашь. Ведь гимн же запрещен! Боже ты мой, что же они делают? На улице-то, на улице слышно!!

Но Ванда уже свалилась как камень и опять заснула. Василиса же лег лишь тогда, когда последний аккорд расплылся наверху в смутном грохоте и вскрикиваньях.

– На Руси возможно только одно: вера православная, власть самодержавная! – покачиваясь, кричал Мышлаевский.

– Верно!

– Я... был на «Павле Первом»... неделю тому назад... – заплетаясь, бормотал Мышлаевский, – и когда артист произнес эти слова, я не выдержал и крикнул: «Верр-но!» – и что ж вы думаете, кругом заплодировали. И только какая-то сволочь в ярусе крикнула: «Идиот!»

– Жи-ды, – мрачно крикнул опьяневший Карась.

Туман. Туман. Туман. Тонк-танк... тонк-танк... Уже водку пить немислимо, уже вино пить немислимо, идет в душу и обратно возвращается. В узком ущелье маленькой уборной, где лампа прыгала и плясала на потолке, как заколдованная, все мутилось и ходило ходуном. Бледного, замученного Мышлаевского тяжко рвало. Турбин, сам пьяный, страшный, с дергающейся щекой, со слипшимися на лбу волосами, поддерживал Мышлаевского.

– А-а...

Тот наконец со стоном откинулся от раковины, мучительно завел угасающие глаза и обвис на руках у Турбина, как вытряхнутый мешок.

– Ни-колка, – прозвучал в дыму и черных полосах чей-то голос, и только через несколько секунд Турбин понял, что этот голос его собственный. – Ни-колка! – повторил он. Белая стенка уборной качнулась и превратилась в зеленую. «Боже-е, боже-е, как тошно и противно. Не буду, клянусь, никогда мешать водку с вином». – Никол...

– А-а, – хрипел Мышлаевский, оседая к полу.

Черная щель расширилась, и в ней появилась Николкина голова и шеврон.

– Никол... помоги, бери его. Бери так, под руку.

– Ц...ц...ц... Эх, эх, – жалостливо качая головой, бормотал Николка и напрягался. Полу-мертвое тело моталось, ноги, шаркая, разъезжались в разные стороны, как на нитке, висела убитая голова. Тонк-танк. Часы ползли со стены и опять на нее садились. Букетами плясали цветики на чашках. Лицо Елены горело пятнами, и прядь волос танцевала над правой бровью.

– Так. Клади его.

– Хоть халат-то запахни ему. Ведь неудобно, я тут. Проклятые черти. Пить не умеете. Витька! Витька! Что с тобой? Вить...

– Брось. Не поможет. Николушка, слушай. В кабинете у меня... на полке, склянка, написано «Liquor ammonii», а угол оборван, к чертям, видишь ли... нашатырным спиртом пахнет.

– Сейчас... сейчас... Эх-эх.

– И ты, доктор, хорош...

– Ну, ладно, ладно.

– Что? Пульса нету?

– Нет, вздор, отойдет.

– Таз! Таз!

– Таз извольте.

– А-а-а...

– Эх, вы!

Резко бьет нашатырный отчаянный спирт. Карась и Елена раскрывали рот Мышлаевского. Николка поддерживал его, и два раза Турбин лил ему в рот помутившуюся белую воду.

– А... хрр... у-ух... Тьф... фэ...

– Снегу, снегу.

– Господи боже мой. Ведь это нужно ж так...

Мокрая тряпка лежала на лбу, с нее стекали на простыни капли, под тряпкой виднелись закатившиеся под набрякшие веки воспаленные белки глаз, и синеватые тени лежали у обострившегося носа. С четверть часа, толкая друг друга локтями, суетясь, возились с побежденным офицером, пока он не открыл глаза и не прохрипел:

– Ах... пусти...

– Тэк-с, ну ладно, пусть здесь и спит.

Во всех комнатах загорелись огни, ходили, приготавливая постели.

– Леонид Юрьевич, вы тут ляжете, у Николки.

– Слушаюсь.

Шервинский, медно-красный, но бодрящийся, щелкнул шпорами и, поклонившись, показал пробор. Белые руки Елены замелькали над подушками на диване.

– Не затрудняйтесь... я сам.

– Отойдите вы. Чего подушку за ухо тянете? Ваша помощь не нужна.

– Позвольте ручку поцеловать...

– По какому поводу?

– В благодарность за хлопоты.

– Обойдется пока... Николка, ты у себя на кровати. Ну, как он?

– Ничего, отошел, проспится.

Белым застелили два ложа и в комнате, предшествующей Николкиной. За двумя тесно сдвинутыми шкафами, полными книг. Так и называлась комната в семье профессора – книжная.

И погасли огни, погасли в книжной, в Николкиной, в столовой. Сквозь узенькую щель между полотнищами портьеры в столовую вылезла темно-красная полоска из спальни Елены. Свет ее томил, поэтому на лампочку, стоящую на тумбе у кровати, надела она темно-красный театральный капор. Когда-то в этом капоре Елена ездила в театр вечером, когда от рук, и меха, и губ пахло духами, а лицо было тонко и нежно напудрено и из коробки капора глядела Елена, как Лиза глядит из «Пиковой дамы». Но капор обветшал, быстро и странно, в один последний год, и сборки ссеклись и потускнели, и потерялись ленты. Как Лиза «Пиковой дамы», рыжеватая Елена, свесив руки на колени, сидела на приготовленной кровати в капоте. Ноги ее были босы, погружены в старенькую, вытертую медвежью шкуру. Недолговечный хмель ушел совсем, и вся черная громадная печаль одевала Еленину голову, как капор. Из соседней комнаты глухо, сквозь дверь, задвинутую шкафом, доносился тонкий свист Николки и жизненный, бодрый храп Шервинского. Из книжной молчание мертвенного Мышлаевского и Карася. Елена была одна и поэтому не сдерживала себя и беседовала то вполголоса, то молча, едва шевеля губами, с капором, налитым светом, и с черными двумя пятнами окон.

– Уехал...

Она пробормотала, сощурила сухие глаза и задумалась. Мысли ее были непонятны ей самой. Уехал, и в такую минуту. Но позвольте, он очень резонный человек и очень хорошо сделал, что уехал... Ведь это же к лучшему...

– Но в такую минуту... – бормотала Елена и глубоко вздохнула.

– Что за такой человек? – Как будто бы она его полюбила и даже привязалась к нему. И вот сейчас чрезвычайная тоска в одиночестве комнаты, у этих окон, которые сегодня кажутся гробовыми. Но ни сейчас, ни все время – полтора года, – что прожила с этим человеком, и не было в душе самого главного, без чего не может существовать ни в коем случае даже такой блестящий брак между красивой, рыжей, золотой Еленой и генерального штаба карьеристом, брак с капорами, с духами, со шпорами и облегченный, без детей. Брак с генерально-штабным, осторожным прибалтийским человеком. И что это за человек? Чего же этого нет главного, без чего пуста моя душа?

– Знаю я, знаю, – сама сказала себе Елена, – уважения нет. Знаешь, Сережа, нет у меня к тебе уважения, – значительно сказала она красному капору и подняла палец. И, сама ужаснувшись тому, что сказала, ужаснулась своему одиночеству и захотела, чтобы он тут был сию минуту. Без уважения, без этого главного, но чтобы был в эту трудную минуту здесь. Уехал. И братья поцеловались. Неужели же так нужно? Хотя позволь-ка, что ж я говорю? А что бы они сделали? Удерживать его? Да ни за что. Да пусть лучше в такую трудную минуту его и нет, и не надо, но только не удерживать. Да ни за что. Пусть едет. Поцеловаться-то они поцеловались, но ведь в глубине души они его ненавидят. Ей-богу. Так вот все лжешь себе, лжешь, а как задумаешься, все ясно – ненавидят. Николка, тот еще добрее, а вот старший... Хотя нет. Алеша тоже добрый, но как-то он больше ненавидит. Господи, что же это я думаю? Сережа, что это я о тебе думаю? А вдруг отрежут... Он там останется, я здесь...

– Мой муж, – сказала она, вздохнувши, и начала расстегивать капотик. – Мой муж...

Капор с интересом слушал, и щеки его осветились жирным красным светом. Спрашивал:

– А что за человек твой муж?

– Мерзавец он. Больше ничего! – сам себе сказал Турбин, в одиночестве через комнату и переднюю от Елены. Мысли Елены передались ему и жгли его уже много минут. – Мерзавец, а я действительно тряпка. Если уж не выгнал его, то по крайней мере нужно было молча уйти.

Поезжай к чертям. Не потому даже мерзавец, что бросил Елену в такую минуту, это, в конце концов, мелочь, вздор, а совсем по-другому. Но вот почему? А, черт, да понятен он мне совершенно. О, чертова кукла, лишенная малейшего понятия о чести! Все, что ни говорит, говорит как бесструнная балалайка, и это офицер русской военной академии. Это лучшее, что должно было быть в России...

Квартира молчала. Полоска, выпадавшая из спальни Елены, потухла. Она заснула, и мысли ее потухли, но Турбин еще долго мучился у себя в маленькой комнате, у маленького письменного стола. Водка и германское вино удружили ему плохо. Он сидел и воспаленными глазами глядел в страницу первой попавшейся ему книги и вычитывал, бессмысленно возвращаясь к одному и тому же:

«Русскому человеку честь – одно только лишнее бремя...»

Только под утро он разделся и уснул, и вот во сне явился к нему маленького роста кошмар в брюках в крупную клетку и глумливо сказал:

– Голым профилем на ежа не сядешь!.. Святая Русь – страна деревянная, нищая и... опасная, а русскому человеку честь – только лишнее бремя.

– Ах ты! – вскричал во сне Турбин. – Г-гадина, да я тебя. – Турбин во сне полез в ящик стола доставать браунинг, сонный, достал, хотел выстрелить в кошмар, погнался за ним, и кошмар пропал.

Часа два тек мутный, черный, без сновидений сон, а когда уже начало светать бледно и нежно за окнами комнаты, выходящей на застекленную веранду, Турбину стал сниться Город.

4

Как многоярусные соты, дымился, и шумел, и жил Город. Прекрасный в морозе и тумане на горах, над Днепром. Целыми днями винтами шел из бесчисленных труб дым к небу. Улицы курились дымкой, и скрипел сбитый гигантский снег. И в пять, и в шесть, и в семь этажей громоздились дома. Днем их окна были черны, а ночью горели рядами в темно-синей выси. Цепочками, сколько хватало глаз, как драгоценные камни, сияли электрические шары, высоко подвешенные на закорючках серых длинных столбов. Днем с приятным ровным гудением бегали трамваи с желтыми соломенными пухлыми сиденьями, по образцу заграничных. Со ската на скат, покрикивая, ехали извозчики, и темные воротники – мех серебристый и черный – делали женские лица загадочными и красивыми.

Сады стояли безмолвные и спокойные, отягченные белым, нетронутым снегом. И было садов в Городе так много, как ни в одном городе мира. Они раскинулись повсюду огромными пятнами, с аллеями, каштанами, оврагами, кленами и липами.

Сады красовались на прекрасных горах, нависших над Днепром, и, уступами поднимаясь, расширяясь, порою пестря миллионами солнечных пятен, порою в нежных сумерках, царствовал вечный Царский сад. Старые, сгнившие черные балки парапета не преграждали пути прямо к обрывам на страшной высоте. Отвесные стены, замеченные вьюгою, падали на нижние далекие террасы, а те расходились все дальше и шире, переходили в береговые рощи над шоссе, вьющимся по берегу великой реки, и темная, скованная лента уходила туда, в дымку, куда даже с городских высот не хватает человеческих глаз, где седые пороги, Запорожская Сечь, и Херсонес, и дальнее море.

Зимой, как ни в одном городе мира, упал покой на улицах и переулках и верхнего Города, на горах, и Города нижнего, раскинувшегося в излучине замерзшего Днепра, и весь машинный гул уходил внутрь каменных зданий, смягчался и ворчал довольно глухо. Вся энергия Города, накопленная за солнечное и грозное лето, выливалась в свете. Свет с четырех часов дня начинал загораться в окнах домов, в круглых электрических шарах, в газовых фонарях, в фонарях домовых, с огненными номерами, и в стеклянных сплошных окнах электри-

ческих станций, наводящих на мысль о страшном и суетном электрическом будущем человечества, в их сплошных окнах, где были видны неустанно мотающие свои отчаянные колеса машины, до корня расшатывающие самое основание земли. Играл светом и переливался, светился, и танцевал, и мерцал Город по ночам до самого утра, а утром угасал, одевался дымом и туманом.

Но лучше всего сверкал электрический белый крест в руках громаднейшего Владимира на Владимирской горке, и был он виден далеко, и часто летом, в черной мгле, в путаных заводах и изгибах старика-реки, из ивняка, лодки видели его и находили по его свету водяной путь на Город, к его пристаням. Зимой крест сиял в черной гуще небес и холодно и спокойно царил над темными пологими далями московского берега, от которого были перекинута два громадных моста. Один цепной, тяжкий, Николаевский, ведущий в Слободку на том берегу, другой – высоченный, стреловидный, по которому прибегали поезда оттуда, где очень, очень далеко сидела, раскинув свою пеструю шапку, таинственная Москва.

И вот, в зиму 1918 года, Город жил странною, неестественной жизнью, которая, очень возможно, уже не повторится в двадцатом столетии. За каменными стенами все квартиры были переполнены. Свои давнишние исконные жители жалась и продолжали сжиматься дальше, волею-неволею впуская новых пришельцев, устремлявшихся на Город. И те как раз и приезжали по этому стреловидному мосту оттуда, где загадочные сизые дымки.

Бежали седоватые банкиры со своими женами, бежали талантливые дельцы, оставившие доверенных помощников в Москве, которым было поручено не терять связи с тем новым миром, который нарождался в Московском царстве, домовладельцы, покинувшие дома верным тайным приказчикам, промышленники, купцы, адвокаты, общественные деятели. Бежали журналисты, московские и петербургские, продажные, алчные, трусливые. Кокотки. Честные дамы из аристократических фамилий. Их нежные дочери, петербургские бледные развратницы с накрашенными карминовыми губами. Бежали секретари директоров департаментов, юные пассивные педерасты. Бежали князья и алтынники, поэты и ростовщики, жандармы и актрисы императорских театров. Вся эта масса, просачиваясь в щель, держала свой путь на Город.

Всю весну, начиная с избрания гетмана, он наполнялся и наполнялся пришельцами. В квартирах спали на диванах и стульях. Обедали огромными обществами за столами в богатых квартирах. Открылись бесчисленные съестные лавки-паштетные, торговавшие до глубокой ночи, кафе, где подавали кофе и где можно было купить женщину, новые театры миниатюр, на подмостках которых кривлялись и смешили народ все наиболее известные актеры, слетевшиеся из двух столиц, открылся знаменитый театр «Лиловый негр» и величественный, до белого утра гремящий тарелками клуб «Прах» (поэты – режиссеры – артисты – художники) на Николаевской улице. Тотчас же вышли новые газеты, и лучшие перья в России начали писать в них фельетоны и в этих фельетонах поносить большевиков. Извозчики целыми днями таскали седоков из ресторана в ресторан, и по ночам в кабаре играла струнная музыка, и в табачном дыму светились неземной красотой лица белых, истощенных, закокаиженных проститутки.

Город разбухал, ширился, лез, как опара из горшка. До самого рассвета шелестели игорные клубы, и в них играли личности петербургские и личности городские, играли важные и гордые немецкие лейтенанты и майоры, которых русские боялись и уважали. Играли арапы из клубов Москвы и украинско-русские, уже висающие на волоске помещики. В кафе «Максим» соловьем свистал на скрипке обаятельный сдобный румын, и глаза у него были чудесные, печальные, томные, с синеватым белком, а волосы – бархатные. Лампы, увитые цыганскими шальями, бросали два света – вниз белый электрический, а вбок и вверх – оранжевый. Звездой голубого пыльного шелку разливался потолок, в голубых ложах сверкали крупные бриллианты и лоснились рыжеватые сибирские меха. И пахло жженым кофе, потом, спиртом и французскими духами. Все лето восемнадцатого года по Николаевской шаркали дутые лихачи, в нава-

ченных кафтанах, и в ряд до света конусами горели машины. В окнах магазинов мохнатились цветочные леса, бревнами золотистого жиру висели балыки, орлами и печатями темно сверкали бутылки прекрасного шампанского вина «Абрау».

И все лето, и все лето напирала и напирала новая. Появились хрящевато-белые с серенькой бритой щетинкой на лицах, с сияющими лаком штиблетами и наглыми глазами тенорасолисты, члены Государственной думы в пенсне, б... со звонкими фамилиями, биллиардные игроки... водили девок в магазины покупать краску для губ и дамские штаны из батиста с чудовищным разрезом. Покупали девкам лак.

Гнали письма в единственную отдушину, через смутную Польшу (ни один черт не знал, кстати говоря, что в ней творится и что это за такая новая страна – Польша), в Германию, великую страну честных тевтонов, запрашивая визы, переводя деньги, чуя, что, может быть, придется ехать дальше и дальше, туда, куда ни в коем случае не достигнет страшный бой и грохот большевистских боевых полков. Мечтали о Франции, о Париже, тосковали при мысли, что попасть туда очень трудно, почти невозможно. Еще больше тосковали во время тех страшных и не совсем ясных мыслей, что вдруг приходили в бессонные ночи на чужих диванах.

– А вдруг? а вдруг? а вдруг? лопнет этот железный кордон... И хлынут серые. Ох, страшно...

Приходили такие мысли в тех случаях, когда далеко, далеко слышались мягкие удары пушек – под Городом стреляли почему-то все лето, блистательное и жаркое, когда всюду и везде охраняли покой металлические немцы, а в самом Городе постоянно слышались глухонькие выстрелы на окраинах: па-па-пах.

Кто в кого стрелял – никому не известно. Это по ночам. А днем успокаивались, видели, как временами по Крещатику, главной улице, или по Владимирской проходил полк германских гусар. Ах, и полк же был! Мохнатые шапки сидели над гордыми лицами, и чешуйчатые ремни сковывали каменные подбородки, рыжие усы торчали стрелами вверх. Лошади в эскадронах шли одна к одной, рослые, рыжие четырехвершковые лошади, и серо-голубые френчи сидели на шестистах всадниках, как чугунные мундиры их грузных германских вождей на памятниках городка Берлина.

Увидав их, радовались и успокаивались и говорили далеким большевикам, злорадно скаля зубы из-за колючей пограничной проволоки:

– А ну, суньтесь!

Большевиков ненавидели. Но не ненавистью в упор, когда ненавидящий хочет идти драться и убивать, а ненавистью трусливой, шипящей, из-за угла, из темноты. Ненавидели по ночам, засыпая в смутной тревоге, днем в ресторанах, читая газеты, в которых описывалось, как большевики стреляют из маузеров в затылки офицерам и банкирам и как в Москве торгуют лавочники лошадиным мясом, зараженным сапом. Ненавидели все – купцы, банкиры, промышленники, адвокаты, актеры, домовладельцы, кокотки, члены Государственного совета, инженеры, врачи и писатели...

Были офицеры. И они бежали и с севера и с запада – бывшего фронта, – и все направлялись в Город, их было очень много и становилось все больше. Рискую жизнью, потому что им, большею частью безденежным и носившим на себе неизгладимую печать своей профессии, было труднее всего получить фальшивые документы и пробраться через границу. Они все-таки сумели пробраться и появиться в Городе с травленными взорами, вшивые и небритые, беспогонные, и начинали в нем приспособливаться, чтобы есть и жить. Были среди них исконные старые жители этого Города, вернувшиеся с войны в насиженные гнезда с той мыслью, как и Алексей Турбин, – отдыхать и отдыхать и устраивать заново не военную, а обыкновенную человеческую жизнь, и были сотни и сотни чужих, которым нельзя было уже оставаться ни в Петербурге, ни в Москве. Одни из них – кирасиры, кавалергарды, конногвардейцы и гвар-

дейские гусары – выплывали легко в мутной пене потревоженного Города. Гетманский конвой ходил в фантастических погонах, и за гетманскими столами усаживалось до двухсот масляных проборов людей, сверкавших гнилыми желтыми зубами с золотыми пломбами. Кого не вместил конвой, вместили дорогие шубы с бобровыми воротниками и полутемные, резного дуба квартиры в лучшей части Города – Липках, рестораны и номера отелей...

Другие – армейские штабс-капитаны конченных и развалившихся полков, боевые армейские гусары, как полковник Най-Турс, сотни прапорщиков и подпоручиков, бывших студентов, как Степанов – Карась, сбитых с винтов жизни войной и революцией, и поручики, тоже бывшие студенты, но конченные для университета навсегда, как Виктор Викторович Мышлавский. Они, в серых потертых шинелях, с еще не зажившими ранами, с ободранными тенями погон на плечах, приезжали в Город и в своих семьях или в семьях чужих спали на стульях, укрывались шинелями, пили водку, бегали, хлопотали и злобно кипели. Вот эти последние ненавидели большевиков ненавистью горячей и прямой, той, которая может двинуть в драку.

Были юнкера. В Городе к началу революции оставалось четыре юнкерских училища – инженерное, артиллерийское и два пехотных. Они кончились и развалились в грохоте солдатской стрельбы и выбросили на улицы искалеченных, только что кончивших гимназистов, только что начавших студентов, не детей и не взрослых, не военных и не штатских, а таких, как семнадцатилетний Николка Турбин...

– Все это, конечно, очень мило, и над всем царствует гетман. Но, ей-богу, я до сих пор не знаю, да и знать не буду, по всей вероятности, до конца жизни, что собой представляет этот невиданный властитель с наименованием, свойственным более веку XVII, нежели XX.

– Да кто он такой, Алексей Васильевич?

– Кавалергард, генерал, сам крупный богатый помещик, и зовут его Павлом Петровичем...

По какой-то странной насмешке судьбы и истории, избрание его, состоявшееся в апреле знаменитого года, произошло в цирке. Будущим историкам это, вероятно, даст обильный материал для юмора. Гражданам же, в особенности уже оседлым в Городе и уже испытывавшим первые взрывы междоусобной брани, было не только не до юмора, но и вообще не до каких-либо размышлений. Избрание состоялось с ошеломляющей быстротой – и слава богу. Гетман воцарился – и прекрасно. Лишь бы только на рынках было мясо и хлеб, а на улицах не было стрельбы, и чтобы, ради самого господ, не было большевиков, и чтобы простой народ не грабил. Ну что ж, все это более или менее осуществилось при гетмане, пожалуй, даже в значительной степени. По крайней мере прибегающие москвичи и петербуржцы и большинство горожан, хоть и смеялись над странной гетманской страной, которую они, подобно капитану Тальбергу, называли опереткой, невсамделишным царством, гетмана славословили искренне... и... «Дай бог, чтобы это продолжалось вечно».

Но вот могло ли это продолжаться вечно, никто бы не мог сказать, и даже сам гетман. Да-с.

Дело в том, что Город – Городом, в нем и полиция – Варга, и министерство, и даже войско, и газеты различных наименований, а вот что делается кругом, в той настоящей Украине, которая по величине больше Франции, в которой десятки миллионов людей, – этого не знал никто. Не знали, ничего не знали, не только о местах отдаленных, но даже – смешно сказать – о деревнях, расположенных в пятидесяти верстах от самого Города. Не знали, но ненавидели всею душой. И когда доходили смутные вести из таинственных областей, которые носят название – деревня, о том, что немцы грабят мужиков и безжалостно карают их, расстреливая из пулеметов, не только ни одного голоса возмущения не раздалось в защиту украинских мужиков, но не раз, под шелковыми абажурами в гостиных, скалились по-волчьи зубы и слышно было бормотание:

– Так им и надо! Так и надо; мало еще! Я бы их еще не так. Вот будут они помнить революцию. Выучат их немцы – своих не хотели, попробуют чужих!

– Ох, как неразумны ваши речи, ох, как неразумны.

– Да что вы, Алексей Васильевич!.. Ведь это такие мерзавцы. Это же совершенно дикие звери. Ладно. Немцы им покажут.

Немцы!!

Немцы!!

И повсюду:

Немцы!!!

Немцы!!

Ладно: тут немцы, а там, за далеким кордоном, где сизые леса, большевики. Только две силы.

5

Так вот-с, неожиданно-негаданно появилась третья сила на громадной шахматной доске. Так плохой и неумелый игрок, отгородившись пешечным строем от страшного партнера (к слову говоря, пешки очень похожи на немцев в тазах), группирует своих офицеров около игрушечного короля. Но коварная ферзь противника внезапно находит путь откуда-то сбоку, проходит в тыл и начинает бить по тылам пешки и коней и объявляет страшные шахи, а за ферзем приходит стремительный легкий слон – офицер, подлетают коварными зигзагами кони, и вот-с, погибает слабый и скверный игрок – получает его деревянный король мат.

Пришло все это быстро, но не внезапно, и предшествовали тому, что пришло, некие знамения.

Однажды, в мае месяце, когда Город проснулся сияющий, как жемчужина в бирюзе, и солнце выкатилось освещать царство гетмана, когда граждане уже двинулись, как муравьи, по своим делишкам и заспанные приказчики начали в магазинах открывать рокочущие шторы, прокатился по Городу страшный и зловещий звук. Он был неслышанного тембра – и не пушка и не гром, – но настолько силен, что многие форточки открылись сами собой и все стекла дрогнули. Затем звук повторился, прошел вновь по всему верхнему Городу, скатился волнами в Город нижний – Подол и через голубой красивый Днепр ушел в московские дали. Горожане проснулись, и на улицах началось смятение. Разрослось оно мгновенно, ибо побежали с верхнего Города – Печерска растерзанные, окровавленные люди с воем и визгом. А звук прошел и в третий раз, и так, что начали с громом обваливаться в печерских домах стекла, и почва шатнулась под ногами.

Многие видели тут женщин, бегущих в одних сорочках и кричащих страшными головами. Вскоре узнали, откуда пришел звук. Он явился с Лысой Горы за Городом, над самым Днепром, где помещались гигантские склады снарядов и пороху. На Лысой Горе произошел взрыв.

Пять дней жил после того Город, в ужасе ожидая, что потекут с Лысой Горы ядовитые газы. Но удары прекратились, газы не потекли, окровавленные исчезли, и Город приобрел мирный вид во всех своих частях, за исключением небольшого угла Печерска, где рухнуло несколько домов. Нечего и говорить, что германское командование нарядило строгое следствие, и нечего и говорить, что город ничего не узнал относительно причин взрыва. Говорили разное.

– Взрыв произвели французские шпионы.

– Нет, взрыв произвели большевистские шпионы.

Кончилось все это тем, что о взрыве просто забыли.

Второе знамение пришло летом, когда Город был полон мощной пыльной зеленью, гремел и грохотал и германские лейтенанты выпивали море содовой воды. Второе знамение было поистине чудовищно!

Среди бела дня, на Николаевской улице, как раз там, где стояли лихачи, убили не кого иного, как главнокомандующего германской армией на Украине, фельдмаршала Эйхгорна, неприкосновенного и гордого генерала, страшного в своем могуществе, заместителя самого императора Вильгельма! Убил его, само собой разумеется, рабочий и, само собой разумеется, социалист. Немцы повесили через двадцать четыре часа после смерти германца не только самого убийцу, но даже извозчика, который подвез его к месту происшествия. Правда, это не воскресило нисколько знаменитого генерала, но зато породило у умных людей замечательные мысли по поводу происходящего.

Так, вечером, задыхаясь у открытого окна, расстегивая пуговицы чесучовой рубашки, Василиса сидел за стаканом чая с лимоном и говорил Алексею Васильевичу Турбину таинственным шепотом:

– Сопоставляя все эти события, я не могу не прийти к заключению, что живем мы весьма непрочно. Мне кажется, что под немцами что-то такое (Василиса пошевелил короткими пальцами в воздухе) шатается. Подумайте сами... Эйхгорна... и где? А? (Василиса сделал испуганные глаза.)

Турбин выслушал мрачно, мрачно дернул щекой и ушел.

Еще предзнаменование явилось на следующее же утро и обрушилось непосредственно на того же Василису. Раненько, раненько, когда солнышко заслало веселый луч в мрачное подземелье, ведущее с двора в квартиру Василисы, тот, выглянув, увидел в луче знамение. Оно было бесподобно в сиянии своих тридцати лет, в блеске монист на царственной екатерининской шее, в босых стройных ногах, в колышущейся упругой груди. Зубы видения сверкали, а от ресниц ложилась на щеки лиловая тень.

– Пятьдесят сегодня, – сказала знамение голосом сирены, указывая на бидон с молоком.

– Что ты, Явдоха? – воскликнул жалобно Василиса. – Побойся бога. Позавчера сорок, вчера сорок пять, сегодня пятьдесят. Ведь этак невозможно.

– Що ж я зроблю? Усе дорого, – ответила сирена, – кажут на базаре, будэ и сто.

Ее зубы вновь сверкнули. На мгновение Василиса забыл и про пятьдесят, и про сто, про все забыл, и сладкий и дерзкий холод прошел у него в животе. Сладкий холод, который проходил каждый раз по животу Василисы, как только появлялось перед ним прекрасное видение в солнечном луче. (Василиса вставал раньше своей супруги.) Про все забыл, почему-то представил себе поляну в лесу, хвойный дух. Эх, эх...

– Смотри, Явдоха, – сказал Василиса, облизывая губы и кося глазами (не вышла бы жена), – уж очень вы распустились с этой революцией. Смотри, выучат вас немцы. – «Хлопнуть или не хлопнуть ее по плечу?» – подумал мучительно Василиса и не решился.

Широкая лента алебастрового молока упала и запенилась в кувшине.

– Чи вони нас выучуть, чи мы их разучимо, – вдруг ответило знамение, сверкнуло, сверкнуло, прогремело бидоном, качнуло коромыслом и, как луч в луче, стало подниматься из подземелья в солнечный дворик. «Н-но-ги-то – а-ах!!» – застонало в голове у Василисы.

В это мгновение донесся голос супруги, и, повернувшись, Василиса столкнулся с ней.

– С кем это ты? – быстро швырнув взглядом вверх, спросила супруга.

– С Явдохой, – равнодушно ответил Василиса, – представь себе, молоко сегодня пятьдесят.

– К-как? – воскликнула Ванда Михайловна. – Это безобразие! Какая наглость! Мужики совершенно взбесились... Явдоха! Явдоха! – закричала она, высываясь в окошко. – Явдоха! Но видение исчезло и не возвращалось.

Василиса всмотрелся в кривой стан жены, в желтые волосы, костлявые локти и сухие ноги, и ему до того вдруг сделалось тошно жить на свете, что он чуть-чуть не плюнул Ванде на подол. Удержавшись и вздохнув, он ушел в прохладную полутьму комнат, сам не понимая, что именно гнетет его. Не то Ванда – ему вдруг представилась она, и желтые ключицы вылезли вперед, как связанные оглобли, – не то какая-то неловкость в словах сладостного видения.

– Разучимо? А? Как вам это нравится? – сам себе бормотал Василиса. – Ох уж эти мне базары! Нет, что вы на это скажете? Уж если они немцев перестанут бояться... последнее дело. Разучимо. А? А зубы-то у нее – роскошь...

Явдоха вдруг во тьме почему-то представилась ему голой, как ведьма на горе.

– Какая дерзость... Разучимо? А грудь...

И это было так умопомрачительно, что Василисе сделалось нехорошо, и он отправился умываться холодной водой.

Так-то вот, незаметно, как всегда, подкралась осень. За наливным золотистым августом пришел светлый и пыльный сентябрь, и в сентябре произошло уже не знамение, а само событие, и было оно на первый взгляд совершенно незначительно.

Именно в городскую тюрьму однажды светлым сентябрьским вечером пришла подписанная соответствующими гетманскими властями бумага, коей предписывалось выпустить из камеры № 666 содержащегося в означенной камере преступника. Вот и все.

Вот и все. И из-за этой бумажки – несомненно, из-за нее! – произошли такие беды и несчастья, такие походы, кровопролития, пожары и погромы, отчаяние и ужас... Ай, ай, ай!

Узник, выпущенный на волю, носил самое простое и незначительное наименование – Семен Васильевич Петлюра. Сам он себя, а также и городские газеты периода декабря 1918 – февраля 1919 годов называли на французский несколько манер – Симон. Прошлое Симона было погружено в глубочайший мрак. Говорили, что он будто бы бухгалтер.

– Нет, счетовод.

– Нет, студент.

Был на углу Крещатика и Николаевской улицы большой и изящный магазин табачных изделий. На продолговатой вывеске был очень хорошо изображен кофейный турок в феске, курящий кальян. Ноги у турка были в мягких желтых туфлях с задранными носами.

Так вот, нашлись и такие, что клятвенно уверяли, будто видели совсем недавно, как Симон продавал в этом самом магазине, изящно стоя за прилавком, табачные изделия фабрики Соломона Когена. Но тут же находились и такие, которые говорили:

– Ничего подобного. Он был уполномоченным союза городов.

– Не союза городов, а земского союза, – отвечали третьи, – типичный земгусар.

Четвертые (приезжие), закрывая глаза, чтобы лучше припомнить, бормотали:

– Позвольте... позвольте-ка...

И рассказывали, что будто бы десять лет назад... виноват, одиннадцать... они видели, как вечером он шел по Малой Бронной улице в Москве, причем под мышкой у него была гитара, завернутая в черный коленкор. И даже добавляли, что шел он на вечеринку к землякам, вот поэтому и гитара в коленкоре. Что будто бы шел он на хорошую интересную вечеринку с веселыми румяными землячками-курсистками, со сливянкой, привезенной прямо с благодатной Украины, с песнями, с чудным Грицем...

...Ой, не хо-д-и...

Потом начинали путаться в описаниях наружности, путать даты, указания места...

– Вы говорите, бритый?

– Нет, кажется... позвольте... с бородкой.

– Позвольте... разве он московский?

– Да нет, студентом... он был...
– Ничего подобного. Иван Иванович его знает. Он был в Тараще народным учителем...
Фу ты, черт... А может, и не шел по Бронной. Москва город большой, на Бронной туманы,
изморось, тени... Какая-то гитара... турок под солнцем... кальян... гитара – дзинь-трень...
неясно, туманно... ах, как туманно и страшно кругом.

...Идут и пою-ют...

Идут, идут мимо окровавленные тени, бегут видения, растрепанные девичьи косы,
тюрьма, стрельба, и мороз, и полночный крест Владимира.

Идут и поют
Юнкера гвардейской школы...
Трубы, литавры,
Тарелки гремят.

Гремят торбаны, свищет соловей стальным винтом, засекают шомполами насмерть
людей, едет, едет черно шлычная конница на горячих лошадях.

Вещий сон гремит, катится к постели Алексея Турбина. Спит Турбин, бледный, с намок-
шей в тепле прядью волос, и розовая лампа горит. Спит весь дом. Из книжной храп Карася, из
Николкиной свист Шервинского... Муть... ночь... Валяется на полу у постели Алексея недо-
читанный Достоевский, и глумятся «Бесы» отчаянными словами... Тихо спит Елена.

– Ну, так вот что я вам скажу: не было. Не было! Не было этого Симона вовсе на свете.
Ни турка, ни гитары под кованым фонарем на Бронной, ни земского союза... ни черта. Просто
миф, порожденный на Украине в тумане страшного 18-го года.

...И было другое – лютая ненависть. Было четыреста тысяч немцев, а вокруг них четыре-
жды сорок раз четыреста тысяч мужиков с сердцами, горящими неутоленной злобой. О, много,
много скопилось в этих сердцах. И удары лейтенантских стеков по лицам, и шрапнельный бег-
лый огонь по непокорным деревьям, спины, исполосованные шомполами гетманских сердю-
ков, и расписки на клочках бумаги почерком майоров и лейтенантов германской армии:

«Выдать русской свинье за купленную у нее свинью 25 марок».

Добродушный, презрительный хохоток над теми, кто приезжал с такой распискою в штаб
германцев в Город.

И реквизированные лошади, и отобранный хлеб, и помещики с толстыми лицами, вер-
нувшиеся в свои поместья при гетмане, – дрожь ненависти при слове «офицерня».

Вот что было-с.

Да еще слухи о земельной реформе, которую намеревался произвести пан гетман,

– увы, увы! только в ноябре 18-го года, когда под Городом загудели
пушки, догадались умные люди, а в том числе и Василиса, что ненавидели
мужики этого самого пана гетмана, как бешеную собаку, —

и мужицкие мыслишки о том, что никакой этой панской сволочной реформы не нужно,
а нужна та вечная, чаемая мужицкая реформа:

– Вся земля мужикам.
– Каждому по 100 десятин.
– Чтобы никаких помещиков и духу не было.

– И чтобы на каждые эти 100 десятин верная гербовая бумага с печатью – во владение вечное, наследственное, от деда к отцу, от отца к сыну, к внуку и так далее.

– Чтобы никакая шпана из Города не приезжала требовать хлеб. Хлеб мужицкий, никому его не дадим, что сами не съедим, закопаем в землю.

– Чтобы из Города привозили керосин.

– Ну-с, такой реформы обожаемый гетман произвести не мог. Да и никакой черт ее не произведет.

Были тоскливые слухи, что справиться с гетманской и немецкой напастью могут только большевики, но у большевиков своя напасть:

– Жиды и комиссары.

– Вот головушка горькая у украинских мужиков! Ниоткуда нет спасения!!

Были десятки тысяч людей, вернувшихся с войны и умеющих стрелять...

– А выучили сами же офицеры по приказанию начальства!

Сотни тысяч винтовок, закопанных в землю, упрятанных в клунях и коморах и не сданных, несмотря на скорые на руку военно-полевые немецкие суды, порки шомполами и стрельбу шрапнелями, миллионы патронов в той же земле, и трехдюймовые орудия в каждой пятой деревне, и пулеметы в каждой второй, во всяком городишке склады снарядов, цейхгаузы с шинелями и папахами.

И в этих же городишках народные учителя, фельдшера, однодворцы, украинские семинаристы, волею судеб ставшие прапорщиками, здоровенные сыны пчеловодов, штабс-капитаны с украинскими фамилиями... все говорят на украинском языке, все любят Украину волшебную, воображаемую, без панов, без офицеров-москалей, – и тысячи бывших пленных украинцев, вернувшихся из Галиции.

Это в довесочек к десяткам тысяч мужичков?... О-го-го!

Вот это было. А узник... гитара...

Слухи грозные, ужасные...

Наступают на нас...

Дзинь... трень... эх, эх, Николка.

Турок, земгусар, Симон. Да не было его. Не было. Так, чепуха, легенда, мираж. Просто слово, в котором слились и неутоленная ярость, и жажда мужицкой мести, и чаяния тех верных сынов своей подсолнечной, жаркой Украины... ненавидящих Москву, какая бы она ни была – большевистская ли, царская или еще какая.

И напрасно, напрасно мудрый Василиса, хватаясь за голову, восклицал в знаменитом ноябре: «Quos vult perdere, dementat!»¹ – и проклинал гетмана за то, что тот выпустил Петлюру из загаженной городской тюрьмы.

– Вздор-с все это. Не он – другой. Не другой – третий.

Итак, кончились всякие знамения, и наступили события... Второе было не пустяшное, как какой-то выпуск мифического человека из тюрьмы, – о нет! – оно было так величественно, что о нем человечество, наверное, будет говорить еще сто лет... Галльские петухи в красных штанах, на далеком европейском Западе, заклевали толстых кованых немцев до полусмерти. Это было ужасное зрелище: петухи во фригийских колпаках с картавым клетотом налетали на бронированных тевтонов и рвали из них ключья мяса вместе с броней. Немцы дрались отча-

¹ Кого (бог) захочет погубить, того он лишает разума (лат.).

янно, вгоняли широкие штыки в оперенные груди, грызли зубами, но не выдержали – и немцы! немцы! – попросили пощады.

Следующее событие было тесно связано с этим и вытекло из него, как следствие из причины. Весь мир, ошеломленный и потрясенный, узнал, что тот человек, имя которого и штопорные усы, как шестидюймовые гвозди, были известны всему миру и который был-то уж наверняка сплошь металлический, без малейших признаков дерева, он был повержен. Повержен в прах – он перестал быть императором. Затем темный ужас прошел ветром по всем головам в Городе: видели, сами видели, как линяли немецкие лейтенанты и как ворс их серо-небесных мундиров превращался в подозрительную вытертую рогожку. И это происходило тут же, на глазах, в течение часов, в течение немногих часов линяли глаза, и в лейтенантских моноклевых окнах потухал живой свет, и из широких стеклянных дисков начинала глядеть дырявая реденькая нищета.

Вот тогда ток пронизал мозги наиболее умных из тех, что с желтыми, твердыми чемоданами и с сдобными женщинами проскочили через колючий большевистский лагерь в Город. Они поняли, что судьба их связала с побежденными, и сердца их исполнились ужасом.

– Немцы побеждены, – сказали гады.

– Мы побеждены, – сказали умные гады.

То же самое поняли и горожане.

О, только тот, кто сам был побежден, знает, как выглядит это слово! Оно похоже на вечер в доме, в котором испортилось электрическое освещение. Оно похоже на комнату, в которой по обоям ползет зеленая плесень, полная болезненной жизни. Оно похоже на рахитиков – демонов ребят, на протухшее постное масло, на матерную ругань женскими голосами в темноте. Словом, оно похоже на смерть.

Кончено. Немцы оставляют Украину. Значит, значит – одним бежать, а другим встречать новых, удивительных, незваных гостей в Городе. И, стало быть, кому-то придется умирать. Те, кто бегут, те умирать не будут, кто же будет умирать?

– Умигать – не в помигушки иг'ать, – вдруг, картавя, сказал неизвестно откуда появившийся перед спящим Алексеем Турбиным полковник Най-Турс.

Он был в странной форме: на голове светозарный шлем, а тело в кольчуге, и опирался он на меч длинный, каких уже нет ни в одной армии со времен крестовых походов. Райское сияние ходило за Наем облаком.

– Вы в раю, полковник? – спросил Турбин, чувствуя сладостный трепет, которого никогда не испытывает человек наяву.

– В гаю, – ответил Най-Турс голосом чистым и совершенно прозрачным, как ручей в городских лесах.

– Как странно, как странно, – заговорил Турбин, – я думал, что рай – это так... мечтание человеческое. И какая странная форма. Вы, позвольте узнать, полковник, остаетесь и в раю офицером?

– Они в бригаде крестоносцев теперича, господин доктор, – ответил вахмистр Жилин, заведомо срезанный пулеметным огнем вместе с эскадронам белградских гусар в 1916 году на Виленском направлении.

Как огромный витязь возвышался вахмистр, и кольчуга его распространяла свет. Грубые его черты, прекрасно памятные доктору Турбину, собственноручно перевязавшему смертельную рану Жилина, ныне были неузнаваемы, а глаза вахмистра совершенно сходны с глазами Най-Турса – чисты, бездонны, освещены изнутри.

Больше всего на свете любил сумрачной душой Алексей Турбин женские глаза. Ах, слепил господь бог игрушку – женские глаза!.. Но куда ж им до глаз вахмистра.

– Как же вы? – спрашивал с любопытством и безотчетной радостью доктор Турбин. – Как же это так, в рай с сапогами, со шпорами? Ведь у вас лошади, в конце концов, обоз, пики?

– Верите слову, господин доктор, – загудел виолончельным басом Жилин, вахмистр, глядя прямо в глаза взором голубым, от которого теплело в сердце, – прямо-таки всем эскадронам, в конном строю и подошли. Гармоника опять же. Оно верно, неудобно... Там, сами извольте знать, чистота, полы церковные.

– Ну? – поражался Турбин.

– Тут, стало быть, апостол Петр. Штатский старичок, а важный, обходительный. Я, конечно, докладую: так и так, 2-й эскадрон белградских гусар в рай подошел благополучно, где прикажете стать? Докладывать-то докладываю, а сам, – вахмистр скромно кашлянул в кулак, – думаю, а ну, думаю, как скажут-то они, апостол Петр, а подите вы к чертовой матери... Потому, сами извольте знать, ведь это куда ж, с конями, и... (вахмистр смущенно почесал затылок) бабы, говоря по секрету, кой-какие пристали по дороге. Говорю это я апостолу, а сам мигаю взводу – мол, баб-то турните временно, а там видно будет. Пушай пока, до выяснения обстоятельства, за облаками посидят. А апостол Петр, хоть человек вольный, но, знаете ли, положительный. Глазами – зырк, и вижу я, что баб-то он и увидел на повозках. Известно, платки на них ясные, за версту видно. Клюква, думаю. Полная засыпь всему эскадрону...

«Эге, говорит, вы что ж, с бабами?» – и головой покачал.

«Так точно, говорю, но, говорю, не извольте беспокоиться, мы их сейчас по шеям попросим, господин апостол».

«Ну нет, говорит, вы уж тут это ваше рукоприкладство оставьте!»

А? Что прикажете делать? Добродушный старикан. Да ведь сами понимаете, господин доктор, эскадрону в походе без баб невозможно.

И вахмистр хитро подмигнул.

– Это верно, – вынужден был согласиться Алексей Васильевич, потупляя глаза. Чьи-то глаза, черные, черные, и родинки на правой щеке, матовой, смутно сверкнули в сонной тьме. Он смущенно крикнул, а вахмистр продолжал:

– Ну-с, сейчас это он и говорит – доложим. Отправился, вернулся и сообщает: ладно, устроим. И такая у нас радость сделалась, невозможно выразить.

Только вышла тут маленькая заминочка. Обождать, говорит апостол Петр, потребуется. Однако ждали мы не более минуты. Гляжу, подъезжает, – вахмистр указал на молчащего и горделивого Най-Турса, уходящего бесследно из сна в неизвестную тьму, – господин эскадронный командир рысью на Тушинском Воре. А за ним немного погода неизвестный юнкерок в пешем строю, – тут вахмистр покосился на Турбина и потупился на мгновение, как будто хотел что-то скрыть от доктора, но не печальное, а наоборот, радостный, славный секрет, потом оправился и продолжал: – Поглядел Петр на них из-под ручки и говорит: «Ну, теперича, грит, все!» – и сейчас дверь настезь, и пожалте, говорит, справа по три.

...Дунька, Дунька, Дунька я!

Дуня, ягода моя, —

зашумел вдруг, как во сне, хор железных голосов, и заиграла итальянская гармоника.

– Под ноги! – закричали на разные голоса взводные.

Й-эх, Дуня, Дуня, Дунь, Дуня!

Полюби, Дуня, меня, —

и замер хор вдали.

– С бабами? Так и вперлись? – ахнул Турбин.

Вахмистр рассмеялся возбужденно и радостно взмахнул руками.

– Господи боже мой, господин доктор. Места-то, места-то там ведь видимо-невидимо. Чистота... По первому обозрению говоря, пять корпусов еще можно поставить, и с запасными эскадронами, да что пять – десять! Рядом с нами хоромы, батушки, потолков не видно! Я и говорю: «А разрешите, говорю, спросить, это для кого же такое?» Потому оригинально: звезды красные, облака красные, в цвет наших чакчир отливают... «А это, – говорит апостол Петр, – для большевиков, с Перекопу которые».

– Какого Перекопу? – тщечно напрягая свой бедный земной ум, спросил Турбин.

– А это, ваше высокоблагородие, у них-то ведь заранее все известно. В 20-м году большевиков-то, когда брали Перекоп, видимо-невидимо положили. Так, стало быть, помещение к приему им приготовили.

– Большевиков? – смутилась душа Турбина. – Путаете вы что-то, Жилин, не может этого быть. Не пустят их туда.

– Господин доктор, сам так думал. Сам. Смутился и спрашиваю господ бога...

– Бога? Ой, Жилин!

– Не сомневайтесь, господин доктор, верно говорю, врать мне нечего, сам разговаривал неоднократно.

– Какой же он такой?

Глаза Жилина испустили лучи, и гордо утончились черты лица.

– Убейте – объяснить не могу. Лик осиянный, а какой – не поймешь... Бывает, взглянешь – и похолодеешь. Чудится, что он на тебя самого похож. Страх такой проймет, думаешь, что же это такое? А потом ничего, отойдешь. Разнообразное лицо. Ну, уж а как говорит, такая радость, такая радость... И сейчас пройдет, пройдет свет голубой... Гм... да нет, не голубой (вахмистр подумал), не могу знать. Верст на тысячу и сквозь тебя. Ну вот-с я и докладываю, как же так, говорю, господи, попы-то твои говорят, что большевики в ад попадут? Ведь это, говорю, что ж такое? Они в тебя не верят, а ты им вишь какие казармы взбодрил.

«Ну, не верят?» – спрашивает.

«Истинный бог», – говорю, а сам, знаете ли, боюсь, помилуйте, богу этакие слова! Только гляжу, а он улыбается. Чего ж это я, думаю, дурак, ему докладываю, когда он лучше меня знает. Однако любопытно, что он такое скажет. А он и говорит:

«Ну не верят, говорит, что ж поделаешь. Пушай. Ведь мне-то от этого ни жарко ни холодно. Да и тебе, говорит, тоже. Да и им, говорит, то же самое. Потому мне от вашей веры ни прибыли, ни убытку. Один верит, другой

не верит, а поступки у вас у всех одинаковые: сейчас друг друга за глотку, а что касается казарм, Жилин, то тут так надо понимать, все вы у меня, Жилин, одинаковые – в поле брани убиенные. Это, Жилин, понимать надо, и не всякий это поймет. Да ты, в общем, Жилин, говорит, этими вопросами себя не расстраивай. Живи себе, гуляй».

Кругло объяснил, господин доктор? а? «Попы-то», – я говорю... Тут он и рукой махнул: «Ты мне, говорит, Жилин, про попов лучше и не напоминай. Ума не приложу, что мне с ними делать. То есть таких дураков, как ваши попы, нету других на свете. По секрету скажу тебе, Жилин, срам, а не попы».

«Да, говорю, уволь ты их, господи, вчистую! Чем дармоедов-то тебе кормить?»

«Жалко, Жилин, вот в чем штука-то», – говорит.

Сияние вокруг Жилина стало голубым, и необъяснимая радость наполнила сердце спящего. Протягивая руки к сверкающему вахмистру, он застонал во сне.

– Жилин, Жилин, нельзя ль мне как-нибудь устроиться врачом у вас в бригаде вашей?

Жилин приветно махнул рукой и ласково и утвердительно закачал головой. Потом стал отодвигаться и покинул Алексея Васильевича. Тот проснулся, и перед ним, вместо Жилина, был уже понемногу бледнеющий квадрат рассветного окна. Доктор отер рукой лицо и почувствовал, что оно в слезах. Он долго вздыхал в утренних сумерках, но вскоре опять заснул, и сон потек теперь ровный, без сновидений...

Да-с, смерть не замедлила. Она пошла по осенним, а потом зимним украинским дорогам вместе с сухим веющим снегом. Стала постукивать в перелесках пулеметами. Самое ее не было видно, но, явственно видный, предшествовал ей некий корявый мужичонков гнев. Он бежал по метели и холоду, в дырявых лаптишках, с сеном в непокрытой свалявшейся голове, и выл. В руках он нес великую дубину, без которой не обходится никакое начинание на Руси. Запорхали легонькие красные петушки. Затем показался в багровом заходящем солнце повешенный за половые органы шинкарь-еврей. И в польской красивой столице Варшаве было видно видение: Генрик Сенкевич стал в облаке и ядовито ухмыльнулся. Затем началась просто форменная чертовщина, вспучилась и запрыгала пузырями. Попы звонили в колокола под зелеными куполами потревоженных церквушек, а рядом, в помещении школ, с выбитыми ружейными пулями стеклами, пели революционные песни. По дорогам пошло привидение – некий старец Дегтяренко, полный душистым самогоном и словами страшными, каркающими, но складывающимися в его темных устах во что-то до чрезвычайности напоминающее декларацию прав человека и гражданина. Затем этот же Дегтяренко-пророк лежал и выл, и пороли его шомполами люди с красными бантами на груди. И самый хитрый мозг сошел бы с ума над этой закавыкой: ежели красные банты, то ни в коем случае не допустимы шомпола, а ежели шомпола – то невозможны красные банты...

Нет, задохнешься в такой стране и в такое время. Ну ее к дьяволу! Миф. Миф Петлюра. Его не было вовсе. Это миф, столь же замечательный, как миф о никогда не существовавшем Наполеоне, но гораздо менее красивый. Случилось другое. Нужно было вот этот самый мужичкий гнев подманить по одной какой-нибудь дороге, ибо так уж колдовски устроено на белом свете, что, сколько бы он ни бежал, он всегда фатально оказывается на одном и том же перекрестке.

Это очень просто. Была бы кутерьма, а люди найдутся.

И вот появился откуда-то полковник Торопец. Оказалось, что он ни более ни менее, как из австрийской армии...

- Да что вы?
- Уверяю вас.

Затем появился писатель Винниченко, прославивший себя двумя вещами – своими романами и тем, что лишь только колдовская волна еще в начале восемнадцатого года выдернула его на поверхность отчаянного украинского моря, его в сатирических журналах города Санкт-Петербурга, не медля ни секунды, назвали изменником.

– И поделом...

– Ну, уж это я не знаю. А затем-с и этот самый таинственный узник из городской тюрьмы.

Еще в сентябре никто в Городе не представлял себе, что могут соорудить три человека, обладающие талантом появиться вовремя, даже и в таком ничтожном месте, как Белая Церковь. В октябре об этом уже сильно догадывались, и начали уходить, освещенные сотнями огней, поезда с Города-I, Пассажирского, в новый, пока еще широкий лаз через новоявленную Польшу и в Германию. Полетели телеграммы. Уехали бриллианты, бегающие глаза, проборы и деньги. Рвались и на юг, на юг, в приморский город Одессу. В ноябре месяце, увы! – все уже знали довольно определенно. Слово

– Петлюра!!!

– Петлюра!!

– Петлюра! -

запрыгало со стен, с серых телеграфных сводок. Утром с газетных листков оно капало в кофе, и божественный тропический напиток немедленно превращался во рту в неприятнейшие помои. Оно загуляло по языкам и застучало в аппаратах Морзе у телеграфистов под пальцами. В Городе начались чудеса в связи с этим же загадочным словом, которое немцы произносили по-своему:

– Пэтурра.

Отдельные немецкие солдаты, приобретшие скверную привычку шататься по окраинам, начали по ночам исчезать. Ночью они исчезали, а днем выяснялось, что их убивали. Поэтому заходили по ночам немецкие патрули в цирюльных тазах. Они ходили, и фонарики сияли – не безобразничать! Но никакие фонарики не могли рассеять той мутной каши, которая заварилась в головах.

Вильгельм. Вильгельм. Вчера убили трех немцев. Боже, немцы уходят, вы знаете?! Троцкого арестовали рабочие в Москве!! Сукины сыны какие-то остановили поезд под Боролянкой и начисто его ограбили. Петлюра послал посольство в Париж. Опять Вильгельм. Черные сингалезы в Одессе. Неизвестное, таинственное имя – консул Энно. Одесса. Одесса. Генерал Деникин. Опять Вильгельм. Немцы уйдут, французы придут.

– Большевики придут, батенька!

– Типун вам на язык, батюшка!

У немцев есть такой аппарат со стрелкой – поставят его на землю, и стрелка показывает, где оружие зарыто. Это штука. Петлюра послал посольство к большевикам. Это еще лучше штука. Петлюра. Петлюра. Петлюра. Петлюра. Пэтурра.

Никто, ни один человек не знал, что, собственно, хочет устроить этот Пэтурра на Украине, но решительно все уже знали, что он, таинственный и безликий

(хотя, впрочем, газеты время от времени помещали на своих страницах первый попавшийся в редакции снимок католического прелата, каждый раз разного, с подписью – Симон Петлюра),

желает ее, Украину, завоевать, а для того, чтобы ее завоевать, он идет брать Город.

6

Магазин «Парижский Шик» мадам Анжу помещался в самом центре Города, на Театральной улице, проходящей позади оперного театра, в огромном многоэтажном доме, и именно в первом этаже. Три ступеньки вели с улицы через стеклянную дверь в магазин, а по бокам стеклянной двери были два окна, завешенные тюлевыми пыльными занавесками. Никому не известно, куда делась сама мадам Анжу и почему помещение ее магазина было использовано для целей вовсе не торговых. На левом окне была нарисована цветная дамская шляпа, с золотыми словами «Шик паризьен», а за стеклом правого окна большущий плакат желтого картона с нарисованными двумя скрещенными севастопольскими пушками, как на погонах у артиллеристов, и надписью сверху:

«Героем можешь ты не быть, но добровольцем быть обязан».

Под пушками слова:

«Запись добровольцев в Мортирный Дивизион, имени командующего, принимается».

У подъезда магазина стояла закопченная и развинченная мотоциклетка с лодочкой, и дверь на пружине поминутно хлопала, и каждый раз, как она открывалась, над ней звенел великолепный звоночек – бррынь-брр-рынь, напоминающий счастливые и недавние времена мадам Анжу.

Турбин, Мышлаевский и Карась встали почти одновременно после пьяной ночи и, к своему удивлению, с совершенно ясными головами, но довольно поздно, около полудня. Выяснилось, что Николки и Шервинского уже нет. Николка спозаранку свернул какой-то таинственный красненький узелок, покряхтел – эх, эх... и отправился к себе в дружину, а Шервинский недавно уехал на службу в штаб командующего.

Мышлаевский, оголив себя до пояса в заветной комнате Анюты за кухней, где за занавеской стояла колонка и ванна, выпустил себе на шею и спину и голову струю ледяной воды и, с воплем ужаса и восторга вскрикивая:

– Эх! Так его! Здорово! – залил все кругом на два аршина. Затем растерся мохнатой простыней, оделся, голову смазал бриолином, причесался и сказал Турбину:

– Алеша, эгм... будь другом, дай свои шпоры надеть. Домой уж я не заеду, а не хочется являться без шпор.

– В кабинете возьми, в правом ящике стола.

Мышлаевский ушел в кабинетик, повозился там, позвякал и вышел. Черноглазая Анюта, утром вернувшаяся из отпуска от тетки, шаркала петушиной метелочкой по креслам. Мышлаевский откашлялся, искоса глянул на дверь, изменил прямой путь на извилистый, дал крюку и тихо сказал:

– Здравствуйте, Анюточка...

– Елене Васильевне скажу, – тотчас механически и без раздумья шепнула Анюта и закрыла глаза, как обреченный, над которым палач уже занес нож.

– Глупень...

Турбин неожиданно заглянул в дверь. Лицо его стало ядовитым.

– Метелочку, Витя, рассматриваешь? Так. Красивая. А ты бы лучше шел своей дорогой, а? А ты, Анюта, имей в виду, в случае, ежели он будет говорить, что женится, так не верь, не женится.

– Ну что, ей-богу, поздороваться нельзя с человеком.

Мышлаевский побурел от незаслуженной обиды, выпятил грудь и зашлепал шпорами из гостиной. В столовой он подошел к важной рыжеватой Елене, и при этом глаза его беспокойно бегали.

– Здравствуй, Лена, ясная, с добрым утром тебя. Эгм... (Из горла Мышлаевского выходил вместо металлического тенора хриплый низкий баритон.) Лена, ясная, – воскликнул он прочувственно, – не сердись. Люблю тебя, и ты меня люби. А что я нахамил вчера, не обращай внимания. Лена, неужели ты думаешь, что я какой-нибудь негодяй?

С этими словами он заключил Елену в объятия и расцеловал ее в обе щеки. В гостиной с мягким стуком упала петушья корона. С Анютой всегда происходили странные вещи, лишь только поручик Мышлаевский появлялся в турбинской квартире. Хозяйственные предметы начинали сыпаться из рук Анюты: каскадом падали ножи, если это было в кухне, сыпались блюда с буфетной стойки; Аннушка становилась рассеянной, бегала без нужды в переднюю и там возилась с калошами, вытирая их тряпкой до тех пор, пока не чвакали короткие, спущенные до каблуков шпоры и не появлялся скошенный подбородок, квадратные плечи и синие бриджи. Тогда Аннушка закрывала глаза и боком выбиралась из тесного, коварного ущелья. И сейчас в гостиной, уронив метелку, она стояла в задумчивости и смотрела куда-то вдаль, через узорные занавеси, в серое, облачное небо.

– Витька, Витька, – говорила Елена, качая головой, похожей на вычищенную театральную корону, – посмотреть на тебя, здоровый ты парень, с чего ж ты так ослабел вчера? Садись, пей чаек, может, тебе полегчает.

– А ты, Леночка, ей-богу, замечательно выглядишь сегодня. И капот тебе идет, клянусь честью, – заискивающе говорил Мышлаевский, бросая легкие, быстрые взоры в зеркальные недра буфета. – Карась, глянь, какой капот. Совершенно зеленый. Нет, до чего хороша.

– Очень красивая Елена Васильевна, – серьезно и искренне ответил Карась.

– Это электрик, – пояснила Елена, – да ты, Витенька, говори сразу – в чем дело?

– Видишь ли, Лена ясная, после вчерашней истории мигрень у меня может сделаться, а с мигренью воевать невозможно...

– Ладно, в буфете.

– Вот, вот... Одну рюмку... Лучше всяких пирамидонов.

Страдальчески сморщившись, Мышлаевский один за другим проглотил два стаканчика водки и закусил их обмякшим вчерашним огурцом. После этого он объявил, что будто бы только что родился, и изъявил желание пить чай с лимоном.

– Ты, Леночка, – хриловато говорил Турбин, – не волнуйся и поджидай меня, я съезжу, запишусь и вернусь домой. Касательно военных действий не беспокойся, будем мы сидеть в городе и отражать этого миленького украинского президента – сволочь такую.

– Не послали бы вас куда-нибудь?

Карась успокоительно махнул рукой.

– Не беспокойтесь, Елена Васильевна. Во-первых, должен вам сказать, что раньше двух недель дивизион ни в коем случае и готов не будет, лошадей еще нет и снарядов. А когда и будет готов, то, без всяких сомнений, останемся мы в Городе. Вся армия, которая сейчас формируется, несомненно, будет гарнизоном Города. Разве в дальнейшем, в случае похода на Москву...

– Ну, это когда еще там... Эгм...

– Это с Деникиным нужно будет соединиться раньше...

– Да вы напрасно, господа, меня утешаете, я ничего ровно не боюсь, напротив, одобряю.

Елена говорила действительно бодро, и в глазах ее уже была деловая будничная забота. «Довлеет дневи злоба его».

– Анюта, – кричала она, – миленькая, там на веранде белье Виктора Викторовича. Возьми его, детка, щеткой хорошенько, а потом сейчас же стирай.

Успокоительнее всего на Елену действовал укладистый, маленький, голубоглазый Карась. Уверенный Карась в рыженьком френче был хладнокровен, курил и шурился.

В передней прощались.

– Ну, да хранит вас Господь, – сказала Елена строго и перекрестила Турбина. Так же перекрестила она и Карася и Мышлаевского. Мышлаевский обнял ее, а Карась, туго перепоясанный по широкой талии шинели, покраснев, нежно поцеловал ее обе руки.

– Господин полковник, – мягко щелкнув шпорами и приложив руку к козырьку, сказал Карась, – разрешите доложить?

Господин полковник сидел в низеньком зеленоватом будуарном креслице на возвышении вроде эстрады в правой части магазина за маленьким письменным столиком. Груды голубоватых картонок с надписью «Мадам Анжу. Дамские шляпы» возвышались за его спиной, несколько темня свет из пыльного окна, завешенного узористым тюлем. Господин полковник держал в руке перо и был на самом деле не полковником, а подполковником в широких золотых погонах, с двумя просветами и тремя звездами и со скрещенными золотыми пушечками. Господин полковник был немногим старше самого Турбина – было ему лет тридцать, самое большое тридцать два. Его лицо, выкормленное и гладко выбритое, украшалось черными, подстриженными по-американски усиками. В высшей степени живые и смысленные глаза смотрели явно устало, но внимательно.

Вокруг полковника царил хаос мироздания. В двух шагах от него в маленькой черной печечке трещал огонь, с узловатых черных труб, тянущихся за перегородку и пропадавших там в глубине магазина, изредка капала черная жижа. Пол, как на эстраде, так и в остальной части магазина переходивший в какие-то углубления, был усеян обрывками бумаги и красными и зелеными лоскутками материи. На высоте, над самой головой полковника, трещала, как беспокойная птица, пишущая машинка, и когда Турбин поднял голову, увидел, что пела она за перилами, висящими под самым потолком магазина. За этими перилами торчали чьи-то ноги и зад в синих рейтузах, а головы не было, потому что ее срезал потолок. Вторая машинка стрекотала в левой части магазина, в неизвестной яме, из которой виднелись яркие погоны вольноопределяющегося и белая голова, но не было ни рук, ни ног.

Много лиц мелькало вокруг полковника, мелькали золотые пушечные погоны, громоздился желтый ящик с телефонными трубками и проволоками, а рядом с картонками грудами лежали, похожие на банки с консервами, ручные бомбы с деревянными рукоятками и несколько кругов пулеметных лент. Ножная швейная машина стояла под левым локтем г-на полковника, а у правой ноги высовывал свое рыльце пулемет. В глубине и полутьме, за занавесом на блестящем пруте, чей-то голос надрывался, очевидно, в телефон: «Да... да... говорю. Говорю: да, да. Да, я говорю». Бррынь-ынь, – проделал звоночек... Пиу, – спела мягкая птичка где-то в яме, и оттуда молодой басок забормотал:

– Дивизион... слушаю... да... да.

– Я слушаю вас, – сказал полковник Карасю.

– Разрешите представить вам, господин полковник, поручика Виктора Мышлаевского и доктора Турбина. Поручик Мышлаевский находится сейчас во второй пехотной дружине, в качестве рядового, и желал бы перевестись во вверенный вам дивизион по специальности. Доктор Турбин просит о назначении его в качестве врача дивизиона.

Проговорив все это, Карась отнял руку от козырька, а Мышлаевский козырнул. «Черт... надо будет форму скорее одеть», – досадливо подумал Турбин, чувствуя себя неприятно без шапки, в качестве какого-то оболтуса в черном пальто с барашковым воротником. Глаза полковника бегло скользнули по доктору и переехали на шинель и лицо Мышлаевского.

– Так, – сказал он, – это даже хорошо. Вы где, поручик, служили?

– В тяжелом N дивизионе, господин полковник, – ответил Мышлаевский, указывая таким образом свое положение во время германской войны.

– В тяжелом? Это совсем хорошо. Черт их знает: артиллерийских офицеров запихнули чего-то в пехоту. Путаница.

– Никак нет, господин полковник, – ответил Мышлаевский, прочищая легоньким кашлем непокорный голос, – это я сам добровольно попросился ввиду того, что спешно требовалось выступить под Пост-Волынский. Но теперь, когда дружина укомплектована в достаточной мере...

– В высшей степени одобряю... хорошо, – сказал полковник и действительно в высшей степени одобрительно посмотрел в глаза Мышлаевскому. – Рад познакомиться... Итак... ах да, доктор? И вы желаете к нам? Гм...

Турбин молча склонил голову, чтобы не отвечать «так точно» в своем барашковом воротнике.

– Гм... – полковник глянул в окно, – знаете, это мысль, конечно, хорошая. Тем более что на днях возможно... Тэк-с... – Он вдруг приостановился, чуть прищурил глазки и заговорил, понизив голос: – Только... как бы это выразиться... Тут, видите ли, доктор, один вопрос... Социальные теории и... гм... вы социалист? Не правда ли? Как все интеллигентные люди? – Глазки полковника скользнули в сторону, а вся его фигура, губы и сладкий голос выразили живейшее желание, чтобы доктор Турбин оказался именно социалистом, а не кем-нибудь иным. – Дивизион у нас так и называется – студенческий, – полковник задушевно улыбнулся, не показывая глаз. – Конечно, несколько сентиментально, но я сам, знаете ли, университетский.

Турбин крайне разочаровался и удивился. «Черт... Как же Карась говорил?...» Карася он почувствовал в этот момент где-то у правого своего плеча и, не глядя, понял, что тот напряженно желает что-то дать ему понять, но что именно – узнать нельзя.

– Я, – вдруг бухнул Турбин, дернув щекой, – к сожалению, не социалист, а... монархист. И даже, должен сказать, не могу выносить самого слова «социалист». А из всех социалистов больше всех ненавижу Александра Федоровича Керенского.

Какой-то звук вылетел изо рта у Карася, сзади, за правым плечом Турбина. «Обидно расставаться с Карасем и Витей, – подумал Турбин, – но шут его возьми, этот социальный дивизион».

Глазки полковника мгновенно вынырнули на лице, и в них мелькнула какая-то искра и блеск. Рукой он взмахнул, как будто желая вежливо закрыть рот Турбину, и заговорил:

– Это печально. Гм... очень печально... Завоевания революции и прочее... У меня приказ сверху: избегать укомплектования монархическими элементами, ввиду того что население... необходима, видите ли, сдержанность. Кроме того, гетман, с которым мы в непосредственной и теснейшей связи, как вам известно... печально... печально...

Голос полковника при этом не только не выражал никакой печали, но, наоборот, звучал очень радостно, и глазки находились в совершеннейшем противоречии с тем, что он говорил.

«Ага-а, – многозначительно подумал Турбин, – дурак я... а полковник этот не глуп. Вероятно, карьерист, судя по физиономии, но это ничего».

– Не знаю уж, как и быть... ведь в настоящий момент, – полковник жирно подчеркнул слово «настоящий», – так в настоящий момент, я говорю, непосредственной нашей задачей является защита Города и гетмана от банд Петлюры и, возможно, большевиков. А там, там видно будет... Позвольте узнать, где вы служили, доктор, до сего времени?

– В тысяча девятьсот пятнадцатом году, по окончании университета экстерном, в венерологической клинике, затем младшим врачом в Белградском гусарском полку, а затем ординатором тяжелого трехсводного госпиталя. В настоящее время демобилизован и занимаюсь частной практикой.

– Юнкер! – воскликнул полковник. – Попросите ко мне старшего офицера.

Чья-то голова провалилась в яме, а затем перед полковником оказался молодой офицер, черный, живой и настойчивый. Он был в круглой барашковой шапке, с малиновым верхом, перекрещенным галуном, в серой, длинной, а la Мышлаевский, шинели, с туго перетянутым поясом, с револьвером. Его помятые золотые погоны показывали, что он штабс-капитан.

– Капитан Студзинский, – обратился к нему полковник, – будьте добры отправить в штаб командующего отношение о срочном переводе ко мне поручика... э...

– Мышлаевский, – сказал, козырнув, Мышлаевский.

– ...Мышлаевского, по специальности, из второй дружины. И туда же отношение, что лекарь... э?

– Турбин...

– Турбин мне крайне необходим в качестве врача дивизиона. Просим о срочном его назначении.

– Слушаю, господин полковник, – с неправильными ударениями ответил офицер и козырнул. «Поляк», – подумал Турбин.

– Вы, поручик, можете не возвращаться в дружину (это Мышлаевскому). Поручик примет четвертый взвод (офицеру).

– Слушаю, господин полковник.

– Слушаю, господин полковник.

– А вы, доктор, с этого момента на службе. Предлагаю вам явиться сегодня через час на плац Александровской гимназии.

– Слушаю, господин полковник.

– Доктору немедленно выдать обмундирование.

– Слушаю.

– Слушаю, слушаю! – кричал басок в яме.

– Слушаете? Нет. Говорю: нет... Нет, говорю, – кричало за перегородкой.

– Бры-ынь... Пи... Пи-у, – пела птичка в яме.

– Слушаете?...

– «Свободные вести»! «Свободные вести»! Ежедневная новая газета «Свободные вести»! – кричал газетчик-мальчишка, повязанный сверж шапки бабьим платком. – Разложение Петлюры. Прибытие черных войск в Одессу. «Свободные вести»!

Турбин успел за час побывать дома. Серебряные погоны вышли из тьмы ящика в письменном столе, помещавшемся в маленьком кабинете Турбина, примыкавшем к гостиной. Там белые занавеси на окне застекленной двери, выходящей на балкон, письменный стол с книгами и чернильным прибором, полки с пузырьками лекарств и приборами, кушетка, застланная чистой простыней. Бедно и тесновато, но уютно.

– Леночка, если сегодня я почему-либо запоздаю и если кто-нибудь придет, скажи – приема нет. Постоянных больных нет... Поскорее, детка.

Елена торопливо, оттянув ворот гимнастерки, пришивала погоны... Вторую пару, защитных зеленых с черным просветом, она пришила на шинель.

Через несколько минут Турбин выбежал через парадный ход, глянул на белую дощечку:

Доктор А. В. Турбин.

Венерические болезни и сифилис.

606–914.

Прием с 4-х до 6-ти.

Приклеил поправку «С 5-ти до 7-ми» и побежал вверх, по Алексеевскому спуску.

– «Свободные вести»!

Турбин задержался, купил у газетчика и на ходу развернул газету:

«Беспартийная демократическая газета.

Выходит ежедневно.

13 декабря 1918 года.

Вопросы внешней торговли, и, в частности, торговли с Германией, заставляют нас...»

– Позвольте, а где же?... Руки зябнут.

«По сообщению нашего корреспондента, в Одессе ведутся переговоры о высадке двух дивизий черных колониальных войск. Консул Энно не допускает мысли, чтобы Петлюра...»

– Ах, сукин сын, мальчишка!

«Перебежчики, явившиеся вчера в штаб нашего командования на Посту-Волынском, сообщили о все растущем разложении в рядах банд Петлюры. Третьего дня конный полк в районе Коростеня открыл огонь по пехотному полку сечевых стрельцов. В бандах Петлюры наблюдается сильное тяготение к миру. Видимо, авантюра Петлюры идет к краху. По сообщению того же перебежчика, полковник Болботун, взбунтовавшийся против Петлюры, ушел в неизвестном направлении со своим полком и четырьмя орудиями. Болботун склоняется к гетманской ориентации.

Крестьяне ненавидят Петлюру за реквизиции. Мобилизация, объявленная им в деревнях, не имеет никакого успеха. Крестьяне массами уклоняются от нее, прячась в лесах».

– Предположим... ах, мороз проклятый... Извините.

– Батюшка, что ж вы людей давите? Газетки дома надо читать...

– Извините...

«Мы всегда утверждали, что авантюра Петлюры...»

– Вот мерзавец! Ах ты ж, мерзавцы...

Кто честен и не волк,

Идет в добровольческий полк...

– Иван Иванович, что это вы сегодня не в духе?

– Да жена напетлюрила. С самого утра сегодня болботунит...

Турбин даже в лице изменился от этой остроты, злобно скомкал газету и швырнул ее на тротуар. Прислушался.

Бу-у, – пели пушки. У-уух, – откуда-то, из утробы земли, звучало за городом.

– Что за черт?

Турбин круто повернулся, поднял газетный ком, расправил его и прочитал еще раз на первой странице внимательно:

«В районе Ирпеня столкновения наших разведчиков с отдельными группами бандитов Петлюры.

На Серебрянском направлении спокойно.

В Красном Трактире без перемен.

В направлении Боярки полк гетманских сердюков лихой атакой рассеял банду в полторы тысячи человек. В плен взято два человека».

Гу... гу... гу... Бу... бу... бу... – ворчала серенькая зимняя даль где-то на юго-западе. Турбин вдруг открыл рот и побледнел. Машинально запихнул газету в карман. От бульвара, по Владимирской улице, чернела и ползла толпа. Прямо по мостовой шло много людей в черных пальто. Замелькали бабы на тротуарах. Конный, из Державной варты, ехал, словно предводитель. Рослая лошадь прядала ушами, косилась, шла боком. Рожа у всадника была растерянная. Он изредка что-то выкрикивал, помахивая нагайкой для порядка, и выкриков его никто не слушал. В толпе, в передних рядах, мелькнули золотые ризы и бороды священников, колыхнулась хоругвь. Мальчишки сбегались со всех сторон.

– «Вести»! – крикнул газетчик и устремился к толпе.

Поварята в белых колпаках с плоскими доньшками выскочили из преисподней ресторана «Метрополь». Толпа расплывалась по снегу, как чернила по бумаге.

Желтые длинные ящики колыхались над толпой. Когда первый поравнялся с Турбиным, тот разглядел угольную корявую надпись на его боку:

«Прапорщик Юцевич».

На следующем:

«Прапорщик Иванов».

На третьем:

«Прапорщик Орлов».

В толпе вдруг возник визг. Седая женщина, в сбившейся на затылок шляпе, спотыкаясь и роняя какие-то свертки на землю, врезалась с тротуара в толпу.

– Что это такое? Ваня?! – залился ее голос. Кто-то, бледнея, побежал в сторону. Взвела одна баба, за нею другая.

– Господи Иисусе Христе! – забормотали сзади Турбина. Кто-то давил его в спину и дышал в шею.

– Господи... последние времена. Что ж это, режут людей?... Да что ж это...

– Лучше я уж не знаю что, чем такое видеть.

– Что? Что? Что? Что? Что такое случилось? Кого это хоронят?

– Ваня! – завывало в толпе.

– Офицеров, что порезали в Попелюхе, – торопливо, задыхаясь от желания первым рассказать, бубнил голос, – выступили в Попелюху, заночевали всем отрядом, а ночью их окружили мужики с петлюровцами и начисто всех порезали. Ну, начисто... Глаза повыкалывали, на плечах погоны повырезали. Форменно изуродовали...

– Вот оно что? Ах, ах, ах...

«Прапорщик Коровин»,

«Прапорщик Гердт», —

проплывали желтые гробы.

– До чего дожили... Подумайте.

– Междуусобные брани.

– Да как же?...

– Заснули, говорят...

– Так им и треба... – вдруг свистнул в толпе за спиной Турбина черный голосок, и перед глазами у него позеленело. В мгновение мелькнули лица, шапки. Словно клещами, ухватил Турбин, просунув руку между двумя шеями, голос за рукав черного пальто. Тот обернулся и впал в состояние ужаса.

– Что вы сказали? – шипящим голосом спросил Турбин и сразу обмяк.

– Помилуйте, господин офицер, – трясаясь в ужасе, ответил голос, – я ничего не говорю. Я молчу. Что вы-с, – голос прыгал.

Утиный нос побледнел, и Турбин сразу понял, что он ошибся, схватил не того, кого нужно. Под утиным барашковым носом торчала исключительной благонамеренности физиономия. Ничего ровно она не могла говорить, и круглые глазки закатывались от страха.

Турбин выпустил рукав и в холодном бешенстве начал рыскать глазами по шапкам, затылкам и воротникам, кипевшим вокруг него. Лево́й рукой он готовился что-то ухватить, а правой придерживал в кармане ручку браунинга. Печальное пение священников проплывало мимо, и рядом, надрываясь, голосила баба в платке. Хватать было решительно некого, голос словно сквозь землю провалился. Проплыл последний гроб,

«Прапорщик Морской», —

пролетели какие-то сани.

– «Вести»! – вдруг под самым ухом Турбина резнул сиплый альт.

Турбин вытащил из кармана скомканный лист и, не помня себя, два раза ткнул им мальчишке в физиономию, приговаривая со скрипом зубовым:

– Вот тебе вести. Вот тебе. Вот тебе вести. Сволочь!

На этом припадок его бешенства и прошел. Мальчишка разорвал газеты, поскользнулся и сел в сугроб. Лицо его мгновенно перекошилось фальшивым плачем, а глаза наполнились отнюдь не фальшивой, лютейшей ненавистью.

– Ште это... что вы... за что мне? – загнусил он, стараясь зареветь и шаря по снегу. Чье-то лицо в удивлении выпятилось на Турбина, но боялось что-нибудь сказать. Чувствуя стыд и нелепую чепуху, Турбин вобрал голову в плечи и, круто свернув, мимо газового фонаря, мимо белого бока круглого гигантского здания музея, мимо каких-то развороченных ям с занесенными пленкой снега кирпичами выбежал на знакомый громадный плац – сад Александровской гимназии.

– «Вести»! Ежедневная демократическая газета! – донеслось с улицы.

Стовосьмидесятиоконным, четырехэтажным громадным покоем окаймляла плац родная Турбину гимназия. Восемь лет провел Турбин в ней, в течение восьми лет в весенние перемены он бегал по этому плацу, а зимами, когда классы были полны душной пыли и лежал на плацу холодный важный снег зимнего учебного года, видел плац из окна. Восемь лет растил и учил кирпичный покой Турбина и младших – Карася и Мышлаевского.

И ровно восемь же лет назад в последний раз видел Турбин сад гимназии. Его сердце защемило почему-то от страха. Ему показалось вдруг, что черная туча заслонила небо, что налетел какой-то вихрь и смыл всю жизнь, как страшный вал смывает пристань. О, восемь лет учения! Сколько в них было нелепого и грустного и отчаянного для мальчишеской души, но сколько было радостного. Серый день, серый день, серый день, ут консекутивум, Кай Юлий Цезарь, кол по космографии и вечная ненависть к астрономии со дня этого кола. Но зато и весна, весна и грохот в залах, гимназистки в зеленых передниках на бульваре, каштаны и май, и, главное, вечный маяк впереди – университет, значит, жизнь свободная, – понимаете ли вы, что значит университет? Закаты на Днепре, воля, деньги, сила, слава.

И вот он все это прошел. Вечно загадочные глаза учителей, и страшные, до сих пор еще снящиеся, бассейны, из которых вечно выливается и никак не может вылиться вода, и сложные рассуждения о том, чем Ленский отличается от Онегина, и как безобразен Сократ, и когда основан орден иезуитов, и высадили Помпей, и еще кто-то высадили, и высадили и высаживается в течение двух тысяч лет...

Мало этого. За восемью годами гимназии, уже вне всяких бассейнов, трупы анатомического театра, белые палаты, стеклянное молчание операционных, а затем три года метания в

седле, чужие раны, унижения и страдания, – о, проклятый бассейн войны... И вот высадился все там же, на этом самом плацу, в том же саду. И бежал по плацу достаточно больной и издерганный, сжимал браунинг в кармане, бежал черт знает куда и зачем. Вероятно, защищать ту самую жизнь – будущее, из-за которого мучился над бассейнами и теми проклятыми пешеходами, из которых один идет со станции «А», а другой навстречу ему со станции «Б».

Черные окна являли полнейший и угрюмейший покой. С первого взгляда становилось понятно, что это покой мертвый. Странно, в центре города, среди развала, кипения и суеты, остался мертвый четырехъярусный корабль, некогда вынесший в открытое море десятки тысяч жизней. Похоже было, что никто уже его теперь не охранял, ни звука, ни движения не было в окнах и под стенами, крытыми желтой николаевской краской. Снег девственным пластом лежал на крышах, шапкой сидел на кронах каштанов, снег устилал плац ровно, и только несколько разбегающихся дорожек следов показывали, что истоптали его только что.

И главное: не только никто не знал, но и никто не интересовался – куда же все делось? Кто теперь учится в этом корабле? А если не учится, то почему? Где сторожа? Почему страшные, тупорылые мортиры торчат под шеренгою каштанов у решетки, отделяющей внутренний палисадник у внутреннего парадного хода? Почему в гимназии цейхгауз? Чей? Кто? Зачем?

Никто этого не знал, как никто не знал, куда девалась мадам Анжу и почему бомбы в ее магазине легли рядом с пустыми картонками?...

– Накати-и! – прокричал голос. Мортиры шевелились и ползали. Человек двести людей шевелились, перебегали, приседали и вскакивали около громадных кованых колес. Смутно мелькали желтые полушубки, серые шинели и папахи, фуражки военные и защитные и синие студенческие.

Когда Турбин пересек грандиозный плац, четыре мортиры стали в шеренгу, глядя на него пастью. Спешное учение возле мортир закончилось, и в две шеренги стал пестрый новобранный строй дивизиона.

– Господин кап-пи-тан, – пропел голос Мышлаевского, – взвод готов.

Студзинский появился перед шеренгами, попятился и крикнул:

– Левое плечо вперед, шагом марш!

Строй хрустнул, колыхнулся и, нестройно топчя снег, поплыл.

Замелькали мимо Турбина многие знакомые и типичные студенческие лица. В голове третьего взвода мелькнул Карась. Не зная еще, куда и зачем, Турбин захрустел рядом со взводом...

Карась вывернулся из строя и, озабоченный, идя задом, начал считать:

–левой. левой. Ать. Ать.

В черную пасть подвального хода гимназии змеей втянулся строй, и пасть начала заглатывать ряд за рядом.

Внутри гимназии было еще мертвеннее и мрачнее, чем снаружи. Каменную тишину и зыбкий сумрак брошенного здания быстро разбудило эхо военного шага. Под сводами стали летать какие-то звуки, точно проснулись демоны. Шорох и писк слышался в тяжком шаге – это потревоженные крысы разбежались по темным закоулкам. Строй прошел по бесконечным и черным подвальным коридорам, вымощенным кирпичными плитами, и пришел в громадный зал, где в узкие прорези решетчатых окошек, сквозь мертвую паутину, скуповато притекал свет.

Адовый грохот молотков взломал молчание. Вскрывали деревянные окованные ящики с патронами, вынимали бесконечные ленты и похожие на торты круги для люисовских пулеметов. Вылезли черные и серые, похожие на злых комаров, пулеметы. Стучали гайки, рвали клещи, в углу со свистом что-то резала пила. Юнкера вынимали кипы слежавшихся холодных папах, шинели в железных складках, негнущиеся ремни, подсумки и фляги в сукне.

– Па-а-живей, – послышался голос Студзинского.

Человек шесть офицеров, в тусклых золотых погонах, завертелись, как плауны на воде. Что-то выпевал выздоровевший тенор Мышлаевского.

– Господин доктор! – прокричал Студзинский из тьмы. – Будьте любезны принять команду фельдшеров и дать ей инструкции.

Перед Турбиным тотчас оказались двое студентов. Один из них, низенький и взволнованный, был с красным крестом на рукаве студенческой шинели. Другой – в сером, и папаха налезала ему на глаза, так что он все время поправлял ее пальцами.

– Там ящики с медикаментами, – проговорил Турбин, – выньте из них сумки, которые через плечо, и мне докторскую с набором. Потрудитесь выдать каждому из артиллеристов по два индивидуальных пакета, бегло объяснив, как их вскрыть в случае надобности.

Голова Мышлаевского выросла над серым копошащимся вечем. Он влез на ящик, взмахнул винтовкой, лязгнул затвором, с треском вложил обойму и затем, целясь в окно и лязгая, лязгая и целясь, забросал юнкеров выброшенными патронами. После этого как фабрика застучала в подвале. Перекатывая стук и лязг, юнкера зарядили винтовки.

– Кто не умеет, осторожнее, юнкера-а, – пел Мышлаевский, – объясните студентам.

Через головы полезли ремни с подсумками и фляги.

Произошло чудо. Разношерстные пестрые люди превращались в однородный, компактный слой, над которым колючей щеткой, нестройно взмахивая и шевелясь, поднялась щетина штыков.

– Господ офицеров попрошу ко мне, – где-то прозвучал Студзинский.

В темноте коридора, под малиновый тихонький звук шпор, Студзинский заговорил негромко:

– Впечатления?

Шпоры потоптались. Мышлаевский, небрежно и ловко ткнув концами пальцев в околыш, пододвинулся к штабс-капитану и сказал:

– У меня во взводе пятнадцать человек не имеют понятия о винтовке. Трудновато.

Студзинский, вдохновенно глядя куда-то вверх, где скромно и серенько сквозь стекло лился последний жиденький светик, молвил:

– Настроение?

Опять заговорил Мышлаевский:

– Кхм... кхм... Гробы напортили. Студентики смутились. На них дурно влияет. Через решетку видели.

Студзинский метнул на него черные упорные глаза.

– Потрудитесь поднять настроение.

И шпоры зазвякали, расходясь.

– Юнкер Павловский! – загремел в цейхгаузе Мышлаевский, как Радамес в «Аиде».

– Павловского... го!.. го!.. го!! – ответил цейхгауз каменным эхом и ревом юнкерских голосов.

– Й'я!

– Алексеевского училища?

– Точно так, господин поручик.

– А ну-ка, двиньте нам песню поэнергичнее. Так, чтобы Петлюра умер, мать его душу...

Один голос, высокий и чистый, завел под каменными сводами:

Артиллеристом я рожден...

Тенора откуда-то ответили в гуще штыков:

В семье бригадной я учился.

Вся студенческая гуща как-то дрогнула, быстро со слуха поймала мотив, и вдруг стихийным басовым хоралом, стреляя пушечным эхом, взорвало весь цейнгауз:

Ог-неем-ем картечи я крещен
И буйным бархатом об-ви-и-ился.
Огне-е-е-е-ем...

Зазвенело в ушах, в патронных ящиках, в мрачных стеклах, в головах, и какие-то забытые пыльные стаканы на покатых подоконниках тряслись и звякали...

И за канаты тормозные
Меня качали номера.

Студзинский, выхватив из толпы шинелей, штыков и пулеметов двух розовых прапорщиков, торопливым шепотом отдавал им приказание:

– Вестибюль... сорвать кисею... поживее...

И прапорщики унеслись куда-то.

Идут и поют
Юнкера гвардейской школы!
Трубы, литавры,
Тарелки звенят!!

Пустая каменная коробка гимназии теперь ревела и выла в страшном марше, и крысы сидели в глубоких норах, ошалев от ужаса.

– Ать... ать!.. – резал пронзительным голосом рев Карась.

– Веселей!.. – прочищенным голосом кричал Мышлаевский. – Алексеевцы, кого хороните?...

Не серая, разрозненная гусеница, а -

Модистки! кухарки! горничные! прачки!!
Вслед юнкерам уходящим глядят!!! —

одетая колючими штыками, валила по коридору шеренга, и пол прогибался и гнулся под хрустом ног. По бесконечному коридору и во второй этаж в упор на гигантский, залитый светом через стеклянный купол вестибюль шла гусеница, и передние ряды вдруг начали ошалевать.

На кровном аргамаче, крытом царским вальтрапом с вензелями, поднимая аргамача на дыбы, сияя улыбкой, в треуголке, заломленной с поля, с белым султаном, лысоватый и сверкающий Александр вылетал перед артиллеристами. Посылая им улыбку за улыбкой, исполненные коварного шарма, Александр взмахивал палашом и острием его указывал юнкерам на Бородинские полки. Клубочками ядер одевались Бородинские поля, и черной тучей штыков покрывалась даль на двухсаженном полотне.

...ведь были ж...
схватки боевые?!

– Да, говорят... – звенел Павловский.

Да, говорят, еще какие!! —

гремели басы.

Неда-а-а-ром помнит вся Россия
Про день Бородина!!

Ослепительный Александр несся на небо, и оборванная кисея, скрывавшая его целый год, лежала валом у копыт его коня.

– Императора Александра Благословенного не видели, что ли? Ровней, ровней! Ать. Ать. Леу. Леу! – выл Мышлаевский, и гусеница поднималась, осаживая лестницу грузным шагом александровской пехоты. Мимо победителя Наполеона левым плечом прошел дивизион в необъятный двусветный актовый зал и, оборвав песню, стал густыми шеренгами, колыхнув штыками. Сумрачный белесый свет царил в зале, и мертвенными, бледными пятнами глядели в простенках громадные, наглухо завешенные портреты последних царей.

Студзинский попятился и глянул на браслет-часы. В это мгновение вбежал юнкер и что-то шепнул ему.

– Командир дивизиона, – расслышали ближайшие.

Студзинский махнул рукой офицерам. Те побежали между шеренгами и выровняли их. Студзинский вышел в коридор навстречу командиру.

Звеня шпорами, полковник Малышев по лестнице, оборачиваясь и косясь на Александра, поднимался ко входу в зал. Кривая кавказская шашка с вишневым темляком болталась у него на левом бедре. Он был в фуражке черного буйного бархата и длинной шинели с огромным разрезом назад. Лицо его было озабоченно. Студзинский торопливо подошел к нему и остановился, откозыряв.

Малышев спросил его:

– Одеты?

– Так точно. Все приказания исполнены.

– Ну, как?

– Драться будут. Но полная неопытность. На сто двадцать юнкеров восемьдесят студентов, не умеющих держать в руках винтовку.

Тень легла на лицо Малышева. Он помолчал.

– Великое счастье, что хорошие офицеры попались, – продолжал Студзинский, – в особенности этот новый, Мышлаевский. Как-нибудь справимся.

– Так-с. Ну-с, вот что: потрудитесь, после моего смотра, дивизион, за исключением офицеров и караула в шестьдесят человек из лучших и опытнейших юнкеров, которых вы оставите у орудий, в цейхгаузе и на охране здания, распустить по домам с тем, чтобы завтра в семь часов утра весь дивизион был в сборе здесь.

Дикое изумление разбило Студзинского, глаза его неприличнейшим образом выкатились на господина полковника. Рот раскрылся.

– Господин полковник... – все ударения у Студзинского от волнения полезли на предпоследний слог, – разрешите доложить. Это невозможно. Единственный способ сохранить сколько-нибудь боеспособным дивизион – это задержать его на ночь здесь.

Господин полковник тут же, и очень быстро, обнаружил новое свойство – великолепнейшим образом сердиться. Шея его и щеки побурели, и глаза загорелись.

– Капитан, – заговорил он неприятным голосом, – я вам в ведомости прикажу выписать жалованье не как старшему офицеру, а как лектору, читающему командам дивизионов, и это мне будет неприятно, потому что я полагал, что в вашем лице я буду иметь именно опытного

старшего офицера, а не штатского профессора. Ну-с, так вот: лекции мне не нужны. Па-а-прошу вас советов мне не давать! Слушать, запоминать. А запомнив – исполнять!

И тут оба выпятились друг на друга.

Самоварная краска полезла по шее и щекам Студзинского, и губы его дрогнули. Как-то скрипнув горлом, он произнес:

– Слушаю, господин полковник.

– Да-с, слушать. Распустить по домам. Приказать выспаться и распустить без оружия, а завтра чтобы явились в семь часов. Распустить, и мало того: мелкими партиями, а не взводными ящиками, и без погон, чтобы не привлекать внимания зевак своим великолепием.

Луч понимания мелькнул в глазах Студзинского, а обида в них погасла.

– Слушаю, господин полковник.

Господин полковник тут резко изменился.

– Александр Брониславович, я вас знаю не первый день как опытного и боевого офицера. Но ведь и вы меня знаете? Стало быть, обиды нет? Обиды в такой час неуместны. Я неприятно сказал – забудьте, ведь вы тоже...

Студзинский залился густейшей краской.

– Точно так, господин полковник, я виноват.

– Ну-с, и отлично. Не будем же терять времени, чтобы их не расхолаживать. Словом, все на завтра. Завтра яснее будет видно. Во всяком случае, скажу заранее: на орудия – внимания ноль, имейте в виду – лошадей не будет и снарядов тоже. Стало быть, завтра с утра стрельба из винтовок, стрельба и стрельба. Сделайте мне так, чтобы дивизион завтра к полудню стрелял, как призовой полк. И всем опытным юнкерам – гранаты. Понятно?

Мрачнейшие тени легли на Студзинского. Он напряженно слушал.

– Господин полковник, разрешите спросить?

– Знаю-с, что вы хотите спросить. Можете не спрашивать. Я сам вам отвечу – погано-с. Бывает хуже, но редко. Теперь понятно?

– Точно так!

– Ну, так вот-с, – Малышев очень понизил голос, – понятно, что мне не хочется остаться в этом каменном мешке на подозрительную ночь и, чего доброго, угробить двести ребят, из которых сто двадцать даже не умеют стрелять!

Студзинский молчал.

– Ну, так вот-с. А об остальном вечером. Все успеем. Валите к дивизиону.

И они вошли в зал.

– Смир-р-р-но. Га-сааа офицеры! – прокричал Студзинский.

– Здравствуйте, артиллеристы!

Студзинский из-за спины Малышева, как беспокойный режиссер, взмахнул рукой, и серая колючая стена рывкнула так, что дрогнули стекла.

– Здра-рра-жла-гсин... полковник...

Малышев весело оглядел ряды, отнял руку от козырька и заговорил:

– Бесподобно... Артиллеристы! Слов тратить не буду, говорить не умею, потому что на митингах не выступал, и потому скажу коротко. Будем мы бить Петлюру, сукина сына, и, будьте покойны, побьем. Среди вас владимировцы, константиновцы, алексеевцы, орлы их ни разу еще не видали от них сраму. А многие из вас воспитанники этой знаменитой гимназии. Старые ее стены смотрят на вас. И я надеюсь, что вы не заставите краснеть за вас. Артиллеристы мортирного дивизиона! Отстоим Город великий в часы осады бандитом. Если мы обкатим этого милого президента шестью дюймами, небо ему покажется не более, чем его собственные подштанники, мать его душу через семь гробов!!!

– Га-а-а... Га-а-а... – ответила колючая гуща, подавленная бойкостью выражений господина полковника.

– Постарайтесь, артиллеристы!

Студзинский опять, как режиссер из-за кулис, испуганно взмахнул рукой, и опять громада обрушила пласты пыли своим воплем, повторенным громовым эхом:

– Ppp... Prrrrr... Стра... Prrrrrr!!!

Через десять минут в актовом зале, как на Бородинском поле, стали сотни ружей в козлах. Двое часовых зачернели на концах поросшей штыками паркетной пыльной равнины. Где-то в отдалении, внизу, стучали и перекатывались шаги торопливо расходившихся, согласно приказу, новоявленных артиллеристов. В коридорах что-то ковано гремело и стучало, и слышались офицерские выкрики – Студзинский сам разводил караулы. Затем неожиданно в коридорах запела труба. В ее рваных, застоявшихся звуках, летящих по всей гимназии, грозность была надломлена, а слышна явственная тревога и фальшь. В коридоре над пролетом, окаймленным двумя рамками лестницы в вестибюль, стоял юнкер и раздувал щеки. Георгиевские потертые ленты свешивались с тусклой медной трубы. Мышлаевский, растопырив ноги циркулем, стоял перед трубачом и учил, и пробовал его.

– Не доносите... Теперь так, так. Раздуйте ее, раздуйте. Залежалась, матушка. А ну-ка, тревогу.

«Та-та-там-та-там», – пел трубач, наводя ужас и тоску на крыс.

Сумерки резко ползли в двусветный зал. Перед полем в козлах остались Малышев и Турбин. Малышев как-то хмуро глянул на врача, но сейчас же устроил на лице приветливую улыбку.

– Ну-с, доктор, у вас как? Санитарная часть в порядке?

– Точно так, господин полковник.

– Вы, доктор, можете отправляться домой. И фельдшеров отпустите. И таким образом: фельдшера пусть явятся завтра в семь часов утра, вместе с остальными... А вы... (Малышев подумал, прищурился.) Вас попрошу прибыть сюда завтра в два часа дня. До тех пор вы свободны. (Малышев опять подумал.) И вот что-с: погоны можете пока не надевать. (Малышев помялся.) В наши планы не входит особенно привлекать к себе внимание. Одним словом, завтра прошу в два часа сюда.

– Слушаю-с, господин полковник.

Турбин потоптался на месте. Малышев вынул портсигар и предложил ему папиросу. Турбин в ответ зажег спичку. Загорелись две красные звездочки, и тут же сразу стало ясно, что значительно потемнело. Малышев беспокойно глянул вверх, где смутно белели дуговые шары, потом вышел в коридор.

– Поручик Мышлаевский. Пожалуйте сюда. Вот что-с: поручаю вам электрическое освещение здания полностью. Потрудитесь в кратчайший срок осветить. Будьте любезны овладеть им настолько, чтобы в любое мгновение вы могли его всюду не только зажечь, но и потушить. И ответственность за освещение целиком ваша.

Мышлаевский козырнул, круто повернулся. Трубач пискнул и прекратил. Мышлаевский, брэнча шпорами – топы-топы-топы, – покатился по парадной лестнице с такой быстротой, словно поехал на коньках. Через минуту откуда-то снизу раздались его громовые удары кулаками куда-то и командные вопли. И в ответ им в парадном подъезде, куда вел широченный двускатный вестибюль, дав слабый отблеск на портрет Александра, вспыхнул свет. Малышев от удовольствия даже приоткрыл рот и обратился к Турбину:

– Нет, черт возьми... Это действительно офицер. Видали?

А снизу на лестнице показалась фигурка и медленно полезла по ступеням вверх. Когда она повернула на первой площадке, и Малышев и Турбин, свесившись с перил, разглядели ее. Фигурка шла на разъезжающихся больных ногах и трясла белой головой. На фигурке была широкая двубортная куртка с серебряными пуговицами и цветными зелеными петлицами.

В прыгающих руках у фигурки торчал огромный ключ. Мышлаевский поднимался сзади и изредка покрикивал:

– Живее, живее, старикан! Что ползешь, как вошь по струне?

– Ваше... ваше... – шамкал и шаркал тихонько старик. Из мглы на площадке вынырнул Карась, за ним другой, высокий офицер, потом два юнкера и, наконец, вострорылый пулемет. Фигурка метнулась в ужасе, согнулась, согнулась и в пояс поклонилась пулемету.

– Ваше высокоблагородие, – бормотала она.

Наверху фигурка трясущимися руками, тычась в полутьме, открыла продолговатый ящик на стене, и белое пятно глянуло из него. Старик сунул руку куда-то, шелкнул, и мгновенно залило верхнюю площадь вестибюля, вход в актовый зал и коридор.

Тьма свернулась и убежала в его концы. Мышлаевский овладел ключом моментально и, просунув руку в ящик, начал играть, шелкая черными ручками. Свет, ослепительный до того, что даже отливал в розовое, то загорался, то исчезал. Вспыхнули шары в зале и погасли. Неожиданно загорелись два шара по концам коридора, и тьма, кувыркнувшись, улизнула совсем.

– Как? Эй! – кричал Мышлаевский.

– Погасло, – отвечали голоса снизу, из провала вестибюля.

– Есть! Горит! – кричали снизу.

Вдоволь наигравшись, Мышлаевский окончательно зажег зал, коридор и рефлектор над Александром, запер ящик на ключ и опустил его в карман.

– Катись, старикан, спать, – молвил он успокоительно, – все в полном порядке.

Старик виновато заморгал подслеповатыми глазами:

– А ключик-то? Ключик... ваше высокоблагородие... Как же? У вас, что ли, будет?

– Ключик у меня будет. Вот именно.

Старик потрясся еще немножко и медленно стал уходить.

– Юнкер!

Румяный толстый юнкер грохнул ложем у ящика и стал неподвижно.

– К ящику пропускать беспрепятственно командира дивизиона, старшего офицера и меня. Но никого более. В случае надобности, по приказанию одного из трех, ящик взламываете, но осторожно, чтобы ни в коем случае не повредить щита.

– Слушаю, господин поручик.

Мышлаевский поравнялся с Турбиным и шепнул:

– Максим-то... видал?

– Господи... видал, видал, – шепнул Турбин.

Командир дивизиона стал у входа в актовый зал, и тысяча огней играла на серебряной резьбе его шашки. Он поманил Мышлаевского и сказал:

– Ну, вот-с, поручик, я доволен, что вы попали к нам в дивизион. Молодцом.

– Рад стараться, господин полковник.

– Вы еще наладите нам отопление здесь, в зале, чтобы отогревать смены юнкеров, а уж об остальном я позабочусь сам. Накормлю вас и водки достану, в количестве небольшом, но достаточном, чтобы согреться.

Мышлаевский приятнейшим образом улыбнулся господину полковнику и внушительно откашлялся:

– Эк... км...

Турбин более не слушал. Наклонившись над балюстрадой, он не отрывал глаз от белоголовой фигурки, пока она не исчезла внизу. Пустая тоска овладела Турбиным. Тут же, у холодной балюстрады, с исключительной ясностью перед ним прошло воспоминание.

...Толпа гимназистов всех возрастов в полном восхищении валила по этому самому коридору.

Коренастый Максим, старший педель, стремительно увлекал две черные фигурки, открывая чудное шествие.

– Пушай, пушай, пушай, пушай, – бормотал он, – пушай по случаю радостного приезда господина попечителя господин инспектор полюбуется на господина Турбина с господином Мышлаевским. Это им будет удовольствие. Прямо-таки замечательное удовольствие!

Надо думать, что последние слова Максима заключали в себе злейшую иронию. Лишь человеку с извращенным вкусом созерцание господ Турбина и Мышлаевского могло доставить удовольствие, да еще в радостный час приезда попечителя.

У господина Мышлаевского, ущемленного в левой руке Максима, была наискось рассечена верхняя губа и левый рукав висел на нитке. На господине Турбине, увлекаемом правою, не было пояса и все пуговицы отлетели не только на блузе, но даже на разрезе брюк спереди, так что собственное тело и белье господина Турбина безобразнейшим образом было открыто для взоров.

– Пустите нас, миленький Максим, дорогой, – молили Турбин и Мышлаевский, обращая по очереди к Максиму угасающие взоры на окровавленных лицах.

– Ура! Волоки его, Макс Преподобный! – кричали сзади взволнованные гимназисты. – Нет такого закону, чтобы второклассников безнаказанно уродовать!

Ах, боже мой, боже мой! Тогда было солнце, шум и грохот. И Максим тогда был не такой, как теперь, – белый, скорбный и голодный. У Максима на голове была черная сапожная щетка, лишь кое-где тронутая нитями проседи, у Максима железные клещи вместо рук и на шее медаль величиною с колесо на экипаже... Ах, колесо, колесо. Все-то ты ехало из деревни «Б», делая N оборотов, и вот приехало в каменную пустоту. Боже, какой холод. Нужно защищать теперь... Но что? Пустоту? Гул шагов?... Разве ты, ты, Александр, спасешь Бородинскими полками гибнущий дом? Оживи, сведи их с полотна! Они побили бы Петлюру.

Ноги Турбина понесли его вниз сами собой. «Максим!» – хотелось ему крикнуть, потом он стал останавливаться и совсем остановился. Представил себе Максима внизу, в подвальной квартирке, где жили сторожа. Наверное, трясется у печки, все забыл и еще будет плакать. А тут и так тоски по самое горло. Плюнуть надо на все это. Довольно сентиментальничать. Про-сентиментальничали свою жизнь. Довольно.

И все-таки, когда Турбин отпустил фельдшеров, он оказался в пустом сумеречном классе. Угольными пятнами глядели со стен доски. И парты стояли рядами. Он не удержался, поднял крышку и присел. Трудно, тяжело, неудобно. Как близка черная доска. Да, клянусь, клянусь, тот самый класс или соседний, потому что вон из окна тот самый вид на Город. Вон черная умершая громада университета. Стрела бульвара в белых огнях, коробки домов, провалы тьмы, стены, высь небес...

А в окнах настоящая опера «Ночь под рождество», снег и огонечки, дрожат и мерцают... «Желал бы я знать, почему стреляют в Святошине?» И безобидно, и далеко, пушки, как в вату, бу-у, бу-у...

– Довольно.

Турбин опустил крышку парты, вышел в коридор и мимо караулов ушел через вестибюль на улицу. В парадном подъезде стоял пулемет. Прохожих на улице было мало, и шел крупный снег.

Господин полковник провел хлопотливую ночь. Много рейсов совершил он между гимназией и находящейся в двух шагах от нее мадам Анжу. К полуночи машина хорошо работала и полным ходом. В гимназии, тихонько шипя, изливали розовый свет калильные фонари в шарах. Зал значительно потеплел, потому что весь вечер и всю ночь бушевало пламя в старинных печах в библиотечных приделах зала.

Юнкера, под командою Мышлаевского, «Отечественными записками» и «Библиотекой для чтения» за 1863 год разожгли белые печи и потом всю ночь непрерывно, гремя топорами, старыми партами топили их. Студзинский и Мышлаевский, приняв по два стакана спирта (господин полковник сдержал свое обещание и доставил его в количестве достаточном, чтобы согреться, именно – полведра), сменяясь, спали по два часа вповалку с юнкерами, на шинелях у печек, и багровые огни и тени играли на их лицах. Потом вставали, всю ночь ходили от караула к караулу, проверяя посты. И Карась с юнкерами-пулеметчиками дежурил у выходов в сад. И в бараньих тулупах, сменяясь каждый час, стояли четверо юнкеров у толстомордых мортир.

У мадам Анжу печка раскалилась, как черт, в трубах звенело и несло, один из юнкеров стоял на часах у двери, не спуская глаз с мотоциклетки у подъезда, и пять юнкеров мертво спали в магазине, расстелив шинели. К часу ночи господин полковник окончательно обосновался у мадам Анжу, зевал, но еще не ложился, все время беседуя с кем-то по телефону. А в два часа ночи, свистя, подъехала мотоциклетка, и из нее вылез военный человек в серой шинели.

– Пропустить. Это ко мне.

Человек доставил полковнику объемистый узел в простыне, перевязанный крест-накрест веревкою. Господин полковник собственноручно запрятал его в маленькую каморочку, находящуюся в приделе магазина, и запер ее на висячий замок. Серый человек покатил на мотоциклетке обратно, а господин полковник перешел на галерею и там, разложив шинель и положив под голову груды лоскутов, лег и, приказав дежурному юнкеру разбудить себя ровно в шесть с половиной, заснул.

7

Глубокою ночью угольная тьма залегла на террасах лучшего места в мире – Владимирской горки. Кирпичные дорожки и аллеи были скрыты под нескончаемым пухлым пластом нетронутого снега.

Ни одна душа в Городе, ни одна нога не беспокоила зимою многоэтажного массива. Кто пойдет на Горку ночью, да еще в такое время? Да страшно там просто! И храбрый человек не пойдет. Да и делать там нечего. Одно всего освещенное место: стоит на страшном тяжелом постаменте уже сто лет чугунный черный Владимир и держит в руке, стоямя, трехсаженный крест. Каждый вечер, лишь окутают сумерки обвалы, скаты и террасы, зажигается крест и горит всю ночь. И далеко виден, верст за сорок виден в черных далях, ведущих к Москве. Но тут освещает немного, падает, задев зелено-черный бок постамента, бледный электрический свет, вырывает из тьмы балюстраду и кусок решетки, окаймляющей среднюю террасу. Больше ничего. А уж дальше, дальше!.. Полная тьма. Деревья во тьме, странные, как люстры в кисее, стоят в шапках снега, и сугробы кругом по самое горло. Жуть.

Ну, понятное дело, ни один человек и не потащится сюда. Даже самый отважный. Незачем, самое главное. Совсем другое дело в Городе. Ночь тревожная, важная, военная ночь. Фонари горят бусинами. Немцы спят, но вполглаза спят. В самом темном переулке вдруг рождается голубой конус.

– Halt!

Хруст... Хруст... посредине улицы ползут пешки в тазах. Черные наушники... Хруст... Винтовочки не за плечами, а на руку. С немцами шутки шутить нельзя, пока что... Что бы там ни было, а немцы – штука серьезная. Похожи на навозных жуков.

– Документ!

– Halt!

Конус из фонарика. Эгей!..

И вот тяжелая черная лакированная машина, впереди четыре огня. Не простая машина, потому что вслед за зеркальной кареткой скачет облегченной рысью конвой – восемь конных. Но немцам это все равно. И машине кричат:

– Halt!

– Куда? Кто? Зачем?

– Командующий, генерал от кавалерии Белоруков.

Ну, это, конечно, другое дело. Это пожалуйста. В стеклах кареты, в глубине, бледное уса-тое лицо. Неясный блеск на плечах генеральской шинели. И тазы немецкие козырнули. Правда, в глубине души им все равно, что командующий Белоруков, что Петлюра, что предводитель зулусов в этой паршивой стране. Но тем не менее. У зулусов жить – по-зулусьи выть. Козырнули тазы. Международная вежливость, как говорится.

* * *

Ночь важная, военная. Из окон мадам Анжу падают лучи света. В лучах дамские шляпы, и корсеты, и панталоны, и севастопольские пушки. И ходит, ходит маятник-юнкер, зябнет, штыком чертит императорский вензель. И там, в Александровской гимназии, льют шары, как на балу. Мышлаевский, подкрепившись водкой в количестве достаточном, ходит, ходит, на Александра Благословенного поглядывает, на ящик с выключателями посматривает. В гимназии довольно весело и важно. В караулах как-никак восемь пулеметов и юнкера – это вам не студенты!.. Они, знаете ли, драться будут. Глаза у Мышлаевского, как у кролика, – красные. Которая уж ночь и сна мало, а водки много и тревоги порядочно. Ну, в Городе с тревогою пока что легко справиться. Ежели ты человек чистый, пожалуйста, гуляй. Правда, раз пять остановят. Но если документы налицо, иди себе, пожалуйста. Удивительно, что ночью шляешься, но иди...

А на Горку кто полезет? Абсолютная глупость. Да еще и ветер там, на высотах... пройдет по сугробным аллеям, так тебе чертовы голоса померещатся. Если бы кто и полез на Горку, то уж разве какой-нибудь совсем отверженный человек, который при всех властях мира чувствует себя среди людей, как волк в собачьей стае. Полный мизерабль, как у Гюго. Такой, которому в Город и показываться не следует, а уж если и показываться, то на свой риск и страх. Проскочишь между патрулями – твоя удача, не проскочишь – не прогневайся. Ежели бы такой человек на Горку и попал, пожалеть его искренне следовало бы по человечеству.

Ведь это и собаке не пожелаешь. Ветер-то ледяной. Пять минут на нем побудешь и домой запробишься, а...

– Як часов с пять? Эх... Эх... померзнем!..

Главное, ходу нет в верхний Город мимо панорамы и водонапорной башни, там, изволите ли видеть, в Михайловском переулке, в монастырском доме, штаб князя Белорукова. И поминутно – то машины с конвоем, то машины с пулеметами, то...

– Офицерня, ах твою душу, щоб вам повылазило!

Патрули, патрули, патрули.

А по террасам вниз в нижний Город – Подол – и думать нечего, потому что на Александровской улице, что вьется у подножия Горки, во-первых, фонари цепью, а во-вторых, немцы, хай им бис! патруль за патрулем! Разве уж под утро? Да ведь замерзнем до утра. Ледяной ветер – гу-у... – пройдет по аллеям, и мерещится, что бормочут в сугробах у решетки человеческие голоса.

– Замерзнем, Кирпатый!

– Терпи, Немоляка, терпи. Походят патрули до утра, заснут. Проскочим на Ввоз, отогреемся у Сычихи.

Пошевелится тьма вдоль решетки, и кажется, что три чернейших тени жмутся к парпету, тянутся, глядят вниз, где как на ладони Александровская улица. Вот она молчит, вот пуста, но вдруг побегут два голубоватых конуса – пролетят немецкие машины, или же покажутся черные лепешечки тазов и от них короткие острые тени... И как на ладони видно...

Отделяется одна тень на Горке, и сипит ее волчий острый голос:

– Э... Немоляка... Рисуем! Ходим. Может, проскочим...

Нехорошо на Горке.

* * *

И во дворце, представьте себе, тоже нехорошо. Какая-то странная, неприличная ночью во дворце суета. Через зал, где стоят аляповатые золоченые стулья, по лоснящемуся паркету мышинной побежкой пробежал старый лакей с бакенбардами. Где-то в отдалении прозвучал дробный электрический звоночек, прозвывали чьи-то шпоры. В спальне зеркала в тусклых рамах с коронами отразили странную неестественную картину. Худой, седоватый, с подстриженными усиками на лисьем бритом пергаментном лице человек, в богатой черкеске с серебряными газырями, заметался у зеркал. Возле него шевелились три немецких офицера и двое русских. Один в черкеске, как и сам центральный человек, другой во френче и рейтузах, обличавших их кавалергардское происхождение, но в клиновидных гетманских погонах. Они помогли лисьему человеку переодеться. Была совлечена черкеска, широкие шаровары, лакированные сапоги. Человека облекли в форму германского майора, и он стал не хуже и не лучше сотен других майоров. Затем дверь отворилась, раздвинулись пыльные дворцовые портьеры и пропустили еще одного человека в форме военного врача германской армии. Он принес с собой целую грудку пакетов, вскрыл их и наглухо умелыми руками забинтовал голову новорожденного германского майора так, что остался видным лишь правый лисий глаз да тонкий рот, чуть приоткрывавший золотые и платиновые коронки.

Неприличная ночная суета во дворце продолжалась еще некоторое время. Каким-то офицером, слоняющимся в зале с аляповатыми стульями и в зале соседнем, вышедший германец рассказал по-немецки, что майор фон Шратт, разряжая револьвер, нечаянно ранил себя в шею и что его сейчас срочно нужно отправить в германский госпиталь. Где-то звенел телефон, еще где-то пела птичка – пиу! Засим к боковому подъезду дворца, пройдя через стрельчатые резные ворота, подошла германская бесшумная машина с красным крестом, и закутанного в марлю, наглухо запакованного в шинель таинственного майора фон Шратта вынесли на носилках и, откинув стенку специальной машины, заложили в нее. Ушла машина, раз глухо рывкнув на повороте при выезде из ворот.

Во дворце же продолжалась до самого утра суетня и тревога, горели огни в залах портретных и в залах золоченых, часто звенел телефон, и лица у лакеев стали как будто наглыми, и в глазах заиграли веселые огни...

В маленькой узкой комнатке, в первом этаже дворца, у телефонного аппарата оказался человек в форме артиллерийского полковника. Он осторожно прикрыл дверь в маленькую обеленную, совсем не похожую на дворцовую, аппаратную комнату и лишь тогда взялся за трубку. Он попросил бессонную барышню на станции дать ему номер 212. И, получив его, сказал «мерси», строго и тревожно сдвинув брови, и спросил интимно и глуховато:

– Это штаб мортирного дивизиона?

Увы, увы! Полковнику Малышеву не пришлось спать до половины седьмого, как он рассчитывал. В четыре часа ночи птичка в магазине мадам Анжу запела чрезвычайно настой-

чиво, и дежурный юнкер вынужден был господина полковника разбудить. Господин полковник проснулся с замечательной быстротой и сразу и остро стал соображать, словно вовсе никогда и не спал. И в претензии на юнкера за прерванный сон господин полковник не был. Мотоциклетка увлекла его в начале пятого утра куда-то, а когда к пяти полковник вернулся к мадам Анжу, он так же тревожно и строго в боевой нахмуренной думе сдвинул свои брови, как и тот полковник во дворце, который из аппаратной вызывал мортирный дивизион.

В семь часов на Бородинском поле, освещенном розоватыми шарами, стояла, пожимаясь от предрассветного холода, гудя и ворча говором, та же растянутая гусеница, что поднималась по лестнице к портрету Александра. Штабс-капитан Студзинский стоял поодаль ее в группе офицеров и молчал. Странное дело, в глазах его был тот же косоватый отблеск тревоги, как и у полковника Малышева начиная с четырех часов утра. Но всякий, кто увидел бы и полковника, и штабс-капитана в эту знаменитую ночь, мог бы сразу и уверенно сказать, в чем разница: у Студзинского в глазах – тревога предчувствия, а у Малышева в глазах тревога определенная, когда все уже совершенно ясно, понятно и погано. У Студзинского из-за обшлага его шинели торчал длинный список артиллеристов дивизиона, Студзинский только что произвел переключку и убедился, что двадцати человек не хватает. Поэтому список носил на себе след резкого движения штабс-капитанских пальцев: он был скомкан.

В похолодевшем зале вились дымки – в офицерской группе курили.

Минута в минуту в семь часов перед строем появился полковник Малышев, и, как предыдущим днем, его встретил приветственный грохот в зале. Господин полковник, как и в предыдущий день, был опоясан серебряной шашкой, но в силу каких-то причин тысяча огней уже не играла на серебряной резьбе. На правом бедре у полковника покоился револьвер в кобуре, и означенная кобура, вероятно, вследствие несвойственной полковнику Малышеву рассеянности, была расстегнута.

Полковник выступил перед дивизионом, левую руку в перчатке положил на эфес шашки, а правую без перчатки нежно наложил на кобуру и произнес следующие слова:

– Приказываю господам офицерам и артиллеристам мортирного дивизиона слушать внимательно то, что я им скажу! За ночь в нашем положении, в положении армии и, я бы сказал, в государственном положении на Украине произошли резкие и внезапные изменения. Поэтому я объявляю вам, что дивизион распущен! Предлагаю каждому из вас, сняв с себя всякие знаки отличия и захватив здесь в цейтгаузе все, что каждый из вас пожелает и что он может унести на себе, разойтись по домам, скрыться в них, ничем себя не проявлять и ожидать нового вызова от меня!

Он помолчал и этим как будто бы еще больше подчеркнул ту абсолютно полную тишину, что была в зале. Даже фонари перестали шипеть. Все взоры артиллеристов и офицерской группы сосредоточились на одной точке в зале, именно – на подстриженных усах господина полковника.

Он заговорил вновь:

– Этот вызов последует с моей стороны немедленно, лишь произойдет какое-либо изменение в положении. Но должен вам сказать, что надежд на него мало... Сейчас мне самому еще неизвестно, как сложится обстановка, но я думаю, что лучшее, на что может рассчитывать каждый... э... (полковник вдруг выкрикнул следующее слово) лучший! из вас – это быть отправленным на Дон. Итак: приказываю всему дивизиону, за исключением господ офицеров и тех юнкеров, которые сегодня ночью несли караулы, немедленно разойтись по домам!

– А?! А?! Га, га, га! – прошелестело по всей громаде, и штыки в ней как-то осели. Замелькали растерянные лица, и как будто где-то в шеренгах мелькнуло несколько обрадованных глаз...

Из офицерской группы выделился штабс-капитан Студзинский, как-то иссиня-бледноватый, косящий глазами, сделал несколько шагов по направлению к полковнику Малышеву, затем оглянулся на офицеров. Мышлаевский смотрел не на него, а все туда же, на усы полковника Малышева, причем вид у него был такой, словно он хочет, по своему обыкновению, выругаться скверными матерными словами. Карась нелепо подбоченился и заморгал глазами. А в отдельной группочке молодых прапорщиков вдруг прошелестело неуместное разрушительное слово «арест»!..

– Что такое? Как? – где-то баском послышалось в шеренге среди юнкеров.

– Арест!..

– Измена!!

Студзинский неожиданно и вдохновенно глянул на светящийся шар над головой, вдруг скопил глаза на ручку кобуры и крикнул:

– Эй, первый взвод!

Передняя шеренга с краю сломалась, серые фигуры выделились из нее, и произошла странная суета.

– Господин полковник! – совершенно сирым голосом сказал Студзинский. – Вы арестованы.

– Арестовать его!! – вдруг истерически звонко выкрикнул один из прапорщиков и двинулся к полковнику.

– Постойте, господа! – крикнул медленно, но прочно соображающий Карась.

Мышлаевский проворно выскочил из группы, ухватил экспансивного прапорщика за рукав шинели и отдернул его назад.

– Пустите меня, господин поручик! – злобно дернув ртом, выкрикнул прапорщик.

– Тише! – прокричал чрезвычайно уверенный голос господина полковника. Правда, и ртом он дергал не хуже самого прапорщика, правда, и лицо его пошло красными пятнами, но в глазах у него было уверенности больше, чем у всей офицерской группы. И все остановились.

– Тише! – повторил полковник. – Приказываю вам стать на места и слушать!

Воцарилось молчание, и у Мышлаевского резко насторожился взор. Было похоже, что какая-то мысль уже проскочила в его голове, и он ждал уже от господина полковника вещей важных и еще более интересных, чем те, которые тот уже сообщил.

– Да, да, – заговорил полковник, дергая щекой, – да... да... Хорош бы я был, если бы пошел в бой с таким составом, который мне послал господь бог. Очень был бы хорош! Но то, что простительно добровольцу-студенту, юноше-юнкеру, в крайнем случае прапорщику, ни в коем случае не простительно вам, господин штабс-капитан!

При этом полковник вонзил в Студзинского исключительной резкости взор. В глазах у господина полковника по адресу Студзинского прыгали искры настоящего раздражения. Опять стала тишина.

– Ну, так вот-с, – продолжал полковник. – В жизнь свою не митинговал, а, видно, сейчас придется. Что ж, помитингуем! Ну, так вот-с: правда, ваша попытка арестовать своего командира обличает в вас хороших патриотов, но она же показывает, что вы, э... офицеры – как бы выразиться? – неопытные! Коротко: времени у меня нет, и, уверяю вас, – зловеще и значительно подчеркнул полковник, – и у вас тоже. Вопрос: кого желаете защищать?

Молчание.

– Кого желаете защищать, я спрашиваю? – грозно повторил полковник.

Мышлаевский с искрами огромного и теплого интереса выдвинулся из группы, козырнул и молвил:

– Гетмана обязаны защищать, господин полковник.

Глаза его светло и смело глядели на полковника.

– Гетмана? – переспросил полковник. – Отлично-с. Дивизион, смирно! – вдруг рявкнул он так, что дивизион инстинктивно дрогнул. – Слушать!! Гетман сегодня около четырех часов утра, позорно бросив нас всех на произвол судьбы, бежал! Бежал, как последняя каналья и трус! Сегодня же, через час после гетмана, бежал туда же, куда и гетман, то есть в германский поезд, командующий нашей армией генерал от кавалерии Белоруков. Не позже чем через несколько часов мы будем свидетелями катастрофы, когда обманутые и втянутые в авантюру люди вроде вас будут перебиты, как собаки. Слушайте: у Петлюры на подступах к городу свыше чем стотысячная армия, и завтрашний день... да что я говорю, не завтрашний, а сегодняшний, – полковник указал рукой на окно, где уже начинал синеть покров над городом, – разрозненные, разбитые части несчастных офицеров и юнкеров, брошенные штабными мерзавцами и этими двумя прохвостами, которых следовало бы повесить, встретятся с прекрасно вооруженными и превышающими их в двадцать раз численностью войсками Петлюры... Слушайте, дети мои! – вдруг сорвавшимся голосом крикнул полковник Малышев, по возрасту годившийся никак не в отцы, а лишь в старшие братья всем стоящим под штыками. – Слушайте! Я, кадровый офицер, вынесший войну с германцами, чему свидетель штабс-капитан Студзинский, на свою совесть беру и ответственность, все!! все!! Вас предупреждаю! Вас посылаю домой! Понятно? – прокричал он.

– Да... а... га, – ответила масса, и штыки ее закачались. И затем громко и судорожно заплакал во второй шеренге какой-то юнкер.

Штабс-капитан Студзинский совершенно неожиданно для всего дивизиона, а вероятно, и для самого себя, странным, не офицерским, жестом ткнул руками в перчатках в глаза, причем дивизионный список упал на пол, и заплакал.

Тогда, заразившись от него, зарыдали еще многие юнкера, шеренги сразу развалились, и голос Радамеса-Мышлаевского, покрывая нестройный гвалт, рявкнул трубочу:

– Юнкер Павловский! Бейте отбой!!

– Господин полковник, разрешите поджечь здание гимназии? – светло глядя на полковника, сказал Мышлаевский.

– Не разрешаю, – вежливо и спокойно ответил ему Малышев.

– Господин полковник, – задумчиво сказал Мышлаевский, – Петлюре достанется цейхгауз, орудия и главное, – Мышлаевский указал рукою в дверь, где в вестибюле над пролетом виднелась голова Александра.

– Достанется, – вежливо подтвердил полковник.

– Но как же, господин полковник?...

Малышев повернулся к Мышлаевскому, глядя на него внимательно, сказал следующее:

– Господин поручик, Петлюре через три часа достанутся сотни живых жизней, и единственно, о чем я жалею, что я ценой своей жизни и даже вашей, еще более дорогой, конечно, их гибели приостановить не могу. О портретах, пушках и винтовках попрошу вас более со мною не говорить.

– Господин полковник, – сказал Студзинский, остановившись перед Малышевым, – от моего лица и от лица офицеров, которых я толкнул на безобразную выходку, прошу вас принять наши извинения.

– Принимаю, – вежливо ответил полковник.

Когда над Городом начал расходиться утренний туман, тупорылые мортиры стояли у Александровского плаца без замков, винтовки и пулеметы, развинченные и разломанные, были разбросаны в тайниках чердака. В снегу, в ямах и в тайниках подвалов были разбросаны груды патронов, и шары больше не источали света в зале и коридорах. Белый щит с выключателями разломали штыками юнкера под командой Мышлаевского.

В окнах было совершенно сине. И в синеве на площадке оставались двое, уходящие последними, – Мышлаевский и Карась.

– Предупредил ли Алексея командир? – озабоченно спросил Мышлаевский Карася.

– Конечно, командир предупредил, ты ж видишь, что он не явился? – ответил Карась.

– К Турбиным не попадем сегодня днем?

– Нет уж, днем нельзя, придется закапывать... то да се. Едем к себе на квартиру.

В окнах было сине, а на дворе уже беловато, и вставал и расходился туман.

Часть II

8

Да, был виден туман. Игольчатый мороз, косматые лапы, безлунный, темный, а потом предрассветный снег, за Городом в даях маковки синих, усеянных сусальными звездами церквей и не потухающий до рассвета, приходящего с московского берега Днепра, в бездонной высоте над Городом Владимирский крест.

К утру он потух. И потухли огни над землей. Но день особенно не разгорался, обещал быть серым, с непроницаемой завесой не очень высоко над Украиной.

Полковник Козырь-Лешко проснулся в пятнадцати верстах от Города именно на рассвете, когда кисленький парный светик пролез в подслеповатое оконце хаты в деревне Попелюхе. Пробуждение Козыря совпало со словом:

– Диспозиция.

Первоначально ему показалось, что он увидел его в очень теплом сне и даже хотел отстранить рукой, как холодное слово. Но слово распухло, влезло в хату вместе с отвратительными красными прыщами на лице ординарца и смятым конвертом. Из сумки со слюдой и сеткой Козырь вытащил под оконцем карту, нашел на ней деревню Борхуны, за Борхунами нашел Белый Гай, проверил ногтем рогулю дорог, усеянную, словно мухами, точками кустарников по бокам, а затем и огромное черное пятно – Город. Воняло махоркой от владельца красных прыщей, полагавшего, что курить можно и при Козыре и от этого война ничуть не пострадает, и крепким второсортным табаком, который курил сам Козырь.

Козырю сию минуту предстояло воевать. Он отнесся к этому бодро, широко зевнул и забренчал сложной сбруей, перекидывая ремни через плечи. Спал он в шинели эту ночь, даже не снимая шпор. Баба завертелась с кринкой молока. Никогда Козырь молока не пил и сейчас не стал. Откуда-то приползли ребята. И один из них, самый маленький, полз по лавке совершенно голым задом, подбираясь к Козыреву маузеру. И не добрался, потому что Козырь маузер пристроил на себя.

Всю свою жизнь до 1914 года Козырь был сельским учителем. В четырнадцатом году попал на войну в драгунский полк и к 1917 году был произведен в офицеры. А рассвет четырнадцатого декабря восемнадцатого года под оконцем застал Козыря полковником петлюровской армии, и никто в мире (и менее всего сам Козырь) не мог бы сказать, как это случилось. А произошло это потому, что война для него, Козыря, была призванием, а учительство лишь долгой и крупной ошибкой. Так, впрочем, чаще всего и бывает в нашей жизни. Целых лет двадцать человек занимается каким-нибудь делом, например, читает римское право, а на двадцать первом – вдруг оказывается, что римское право ни при чем, что он даже не понимает его и не любит, а на самом деле он тонкий садовод и горит любовью к цветам. Происходит это, надо полагать, от несовершенства нашего социального строя, при котором люди сплошь и рядом попадают на свое место только к концу жизни. Козырь попал к сорока пяти годам. А до тех пор был плохим учителем, жестоким и скучным.

– А нуте, скажите хлопцам, щоб выбирились с хат, тай по коням, – произнес Козырь и перетянул хрустнувший ремень на животе.

Курились белые хатки в деревне Попелюхе, и выезжал строй полковника Козыря сабелюк на четыреста. В рядах над строем курилась махорка, и нервно ходил под Козырем гнедой пятивершковый жеребец. Скрипели дровни обоза, на полверсты тянулись за полком. Полк качался в седлах, и тотчас же за Попелюхой развернулся в голове конной колонны двухцветный прапор – плат голубой, плат желтый, на древке.

Козырь чаю не терпел и всему на свете предпочитал утром глоток водки. Царскую водку любил. Не было ее четыре года, а при гетманщине появилась на всей Украине. Прошла водка из серой баклажки по жилам Козыря веселым пламенем. Прошла водка и по рядам из манерок, взятых еще со склада в Белой Церкви, и лишь прошла, ударила в голове колонны трехрядная итальянка и запел фальцет:

Гай, за гаем, гаем,
Гаем зелененьким...

А в пятом ряду рванули басы:

Там орала дивчиненька
Воликом черненьким...
Орала... орала,
Не вмила гукаты.
Тай наняла козаченька
На скрипочке граты.

– Фью... ах! Ах, тах, тах!.. – засвистал и защелкал веселым соловьем всадник у прапора. Закачались пики, и тряслись черные шлыки гробового цвета с позументом и гробовыми кистями. Хрустел снег под тысячью кованых копыт. Ударил радостный торбан.

– Так его! Не журишь, хлопцы, – одобрительно сказал Козырь. И завился винтом соловей по снежным украинским полям.

Прошли Белый Гай, раздернулась завеса тумана, и по всем дорогам зачернело, зашевелилось, захрустело. У Гая на скрещении дорог пропустили вперед себя тысячи с полторы людей в рядах пехоты. Были эти люди одеты в передних шеренгах в синие одинакие жупаны добротного германского сукна, были тоньше лицами, подвижнее, умело несли винтовки – галичане. А в задних рядах шли одетые в длинные до пят больничные халаты, подпоясанные желтыми сыромятными ремнями. И на головах у всех колыхались германские разлапанные шлемы поверх папах. Кованые боты уминали снег.

От силы начали чернеть белые пути к Городу.

– Слава! – кричала проходящая пехота желто-блакитному прапору.

– Слава! – гукал Гай перелесками.

«Славе» ответили пушки позади и на левой руке. Командир корпуса облоги, полковник Торопец, еще в ночь послал две батареи к Городскому лесу. Пушки стали полукругом в снежном море и с рассветом начали обстрел. Шестидюймовые волнами грохота разбудили снежные корабельные сосны. По громадному селению Пуше-Водице два раза прошло по удару, от которых в четырех просеках в домах, сидящих в снегу, враз вылетели все стекла. Несколько сосен развернуло в щепы и дало многосаженные фонтаны снегу. Но затем в Пуше смолкли звуки. Лес стал, как в полусне, и только потревоженные белки шлялись, шурша лапками, по столетним стволам. Две батареи после этого снялись из-под Пуши и пошли на правый фланг. Они пересекли необъятные пахотные земли, лесистое Урочище, повернули по узкой дороге, дошли до разветвления и там развернулись уже в виду Города. С раннего утра на Подгородней, на Савской, в предместье Города, Куреневке, стали рваться высокие шрапнели.

В низком снежном небе било погремушками, словно кто-то играл. Там жители домишек уже с утра сидели в погребах, и в утренних сумерках было видно, как иззябшие цепи юнкеров переходили куда-то ближе к сердцевине Города. Впрочем, пушки вскоре стихли и сменились веселой тарахтящей стрельбой где-то на окраине на севере. Затем и она утихла.

Поезд командира корпуса облоги Торопца стоял на разъезде верстах в пяти от занесенного снегом и оглушенного буханьем и перекатами мертвенного поселка Святошино, в громадных лесах. Всю ночь в шести вагонах не гасло электричество, всю ночь звенел телефон на разъезде и пищали полевые телефоны в измызганном салоне полковника Торопца. Когда же снежный день совсем осветил местность, пушки прогремели впереди по линии железной дороги, ведущей из Святошина на Пост-Волынский, и птички запели в желтых ящиках, и худой, нервный Торопец сказал своему адъютанту Худяковскому:

– Взялы Святошино. Запропонуйте, будьте ласковы, пане адъютант, нехай потяг передадут на Святошино.

Поезд Торопца медленно пошел между стенами строевого зимнего леса и стал близ скрещенья железнодорожной линии с огромным шоссе, стрелой вонзающимся в Город. И тут, в салоне, полковник Торопец стал выполнять свой план, разработанный им в две бессонные ночи в этом самом клоповом салоне № 4173.

Город вставал в тумане, обложенный со всех сторон. На севере от Городского леса и пахотных земель, на западе от взятого Святошина, на юго-западе от злосчастного Поста-Волынского, на юге за рощами, кладбищами, выгонами и стрельбищем, опоясанными железной дорогой, повсюду по тропам и путям и безудержно просто по снежным равнинам чернела и ползла и позвякивала конница, скрипели тягостные пушки, и шла и увязала в снегу истомившаяся за месяц облоги пехота Петлюриной армии.

В вагон-салоне с зашарканным суконным полом поминутно пели тихие нежные петушки, и телефонисты Франько и Гарась, не спавшие целую ночь, начинали дуреть.

– Ти-у... пи-у... слушаю! пи-у... ти-у...

План Торопца был хитер, хитер был чернобровый, бритый, нервный полковник Торопец. Недаром послал он две батареи под Городской лес, недаром грохотал в морозном воздухе и разбил трамвайную линию на лохматую Пуще-Водицу. Недаром надвинул потом пулеметы со стороны пахотных земель, приближая их к левому флангу. Хотел Торопец ввести в заблуждение защитников Города, что он, Торопец, будет брать Город с его, Торопца, левого фланга (с севера), с предместья Куреневки, с тем, чтобы оттянуть туда городскую армию, а самому ударить в Город в лоб, прямо от Святошина по Брест-Литовскому шоссе, и, кроме того, с крайнего правого фланга, с юга, со стороны села Демиевки.

Вот в исполнение плана Торопца – двигались части Петлюрина войска по дорогам с левого фланга на правый и шел под свист и гармонику со старшинами в голове черношлычный полк Козыря-Лешко.

– Слава! – перелесками гукал Гай. – Слава!

Подошли, оставили Гай в стороне и, уже пересекши железнодорожное полотно по бревенчатому мосту, увидели Город. Он был еще теплый со сна, и над ним курился не то туман, не то дым. Приподнявшись на стременинах, смотрел в цейссовские стекла Козырь туда, где грохотались кровли многоэтажных домов и купола собора старой Софии.

На правой руке у Козыря уже шел бой. Верстах в двух медно бухали пушки и стрекотали пулеметы. Там Петлюрина пехота цепочками перебежала к Посту-Волынскому и цепочками же отваливала от Поста, в достаточной мере ошеломленная густым огнем, жиденькая и разношерстная белогвардейская пехота...

Город. Низкое густое небо. Угол. Домишки на окраине, редкие шинели.

– Сейчас передавали, что будто с Петлюрой заключено соглашение – выпустить все русские части с оружием на Дон к Деникину...

– Ну?

Пушки... Пушки... бух... бу-бу-бу...

А вот завыл пулемет.

Отчаяние и недоумение в юнкерском голосе:

– Но, позволь, ведь тогда же нужно прекратить сопротивление?...

Тоска в юнкерском голосе:

– А черт их знает!

Полковника Щеткина уже с утра не было в штабе, и не было по той простой причине, что штаба этого более не существовало. Еще в ночь под четырнадцатое число штаб Щеткина отъехал назад, на вокзал Города-I, и эту ночь провел в гостинице «Роза Стамбула», у самого телеграфа. Там ночью у Щеткина изредка пела телефонная птица, но к утру она затихла. А утром двое адъютантов полковника Щеткина бесследно исчезли. Через час после этого и сам Щеткин, порывшись зачем-то в ящиках с бумагами и что-то порвав в ключья, вышел из заплыванной «Розы», но уже не в серой шинели с погонами, а в штатском мохнатом пальто и в шляпе пирожком. Откуда они взялись – никому не известно.

Взяв в квартале расстояния от «Розы» извозчика, штатский Щеткин уехал в Липки, прибыл в тесную, хорошо обставленную квартиру с мебелью, позвонил, поцеловался с полной золотистой блондинкой и ушел с нею в затаенную спальню. Прошептав прямо в округлившись от ужаса глаза блондинки слова:

– Все кончено! О, как я измучен... – полковник Щеткин удалился в альков и там уснул после чашки черного кофе, изготовленного руками золотистой блондинки.

Ничего этого не знали юнкера первой дружины. А жаль! Если бы знали, то, может быть, осенило бы их вдохновение и, вместо того чтобы вертеться под шрапнельным небом у Поста-Волынского, отправились бы они в уютную квартиру в Липках, извлекли бы оттуда сонного полковника Щеткина и, выведя, повесили бы его на фонаре, как раз напротив квартирки с золотистой особой.

Хорошо бы было это сделать, но они не сделали, потому что ничего не знали и не понимали.

Да и никто ничего не понимал в Городе, и в будущем, вероятно, не скоро поймут. В самом деле: в Городе железные, хотя, правда, уже немножко подточенные немцы, в Городе усостриженный тонкий Лиса Патрикеевна гетман (о ранении в шею таинственного майора фон Шратта знали утром очень немногие), в Городе его сиятельство князь Белоруков, в Городе генерал Картузов, формирующий дружины для защиты матери городов русских, в Городе как-никак и звенят и поют телефоны штабов (никто еще не знал, что они с утра уже начали разбегаться), в Городе густопогонно. В Городе ярость при слове «Петлюра» и еще в сегодняшнем же номере газеты «Вести» смеются над ним блудливые петербургские журналисты, в Городе ходят кадеты, а там, у Караваевских дач, уже свищет соловьем разноцветная шлычная конница и заходят с левого фланга на правый облегченную рысью лихие гайдамаки. Если они свищут в пяти верстах, то, спрашивается, на что надеется гетман? Ведь по его душу свищут! Ох, свищут... Может быть, немцы за него заступятся? Но тогда почему же тумбы-немцы равнодушно улыбаются в свои стриженные немцевы усы на станции Фастов, когда мимо них эшелон за эшелон к Городу проходят Петлюрины части? Может быть, с Петлюрой соглашение, чтобы мирно впустить его в Город? Но тогда какого черта белые офицерские пушки стреляют в Петлюру?

Нет, никто не поймет, что происходило в Городе днем четырнадцатого декабря.

Звенели штабные телефоны, но, правда, все реже, и реже, и реже...

Реже!

Реже!

Дрррр!..

– Тиу...

– Яша! Ты знаешь? Уже!

И рвался мыслями Яков Григорьевич к одной цели – на самом углу Миллионной улицы у пустыря, где на угловом домике уютно висела ржавая с золотом вывеска:

Повивальная бабка Е. Т. Шадурская.

На Миллионной довольно-таки опасно, хоть она и поперечная, а бьют вдоль с Печерской площади к Киевскому спуску.

Лишь бы проскочить. Лишь бы... Пирожок на затылке, в глазах ужас, и лепится под стенками Яков Григорьевич Фельдман.

– Стый! Ты куда?

Галаньба перегнулся с седла. Фельдман стал темный лицом, глаза его запрыгали. В глазах запрыгали зеленые галунные хвосты гайдамаков.

– Я, панове, мирный житель. Жинка родит. Мне до бабки треба.

– До бабки? А чему ж це ты под стеной ховаешься? а? ж-жидюга?...

– Я, панове...

Нагайка змеей прошла по котиковому воротнику и по шее. Адова боль. Взвизгнул Фельдман. Стал не темным, а белым, и померещилось между хвостами лицо жены.

– Посвидченя!

Фельдман вытащил бумажник с документами, развернул, взял первый листик и вдруг затрясся, тут только вспомнил... ах, боже мой, боже мой! Что ж он наделал? Что вы, Яков Григорьевич, вытащили? Да разве вспомнишь такую мелочь, выбегая из дому, когда из спальни жены раздастся первый стон? О, горе Фельдману! Галаньба мгновенно овладел документом. Всего-то тоненький листик с печатью, а в этом листике Фельдмана смерть.

«Предъявителю сего господину Фельдману Якову Григорьевичу разрешается свободный выезд и въезд из Города по делам снабжения броневых частей гарнизона Города, а равно и хождение по городу после 12 час. ночи.

Начснабжения – генерал-майор *Илларионов*.

Адъютант – поручик *Лещинский*»

Поставлял Фельдман генералу Каргузову сало и вазелин – полусмазку для орудий.

Боже, сотвори чудо!

– Пан сотник, це не тот документ!.. Позвольте...

– Нет, тот, – дьявольски усмехнувшись, молвил Галаньба, – не журись, сами грамотны, прочитаем.

Боже! Сотвори чудо! Одиннадцать тысяч карбованцев... Все берите. Но только дайте жизнь! Дай! Шмаисроэль!

Не дал.

Хорошо и то, что Фельдман умер легкой смертью. Некогда было сотнику Галаньбе. Поэтому он просто отмахнул шашкой Фельдману по голове.

9

Полковник Болботун, потеряв семерых казаков убитыми и девять ранеными и семерых лошадей, прошел полверсты от Печерской площади до Резниковской улицы и там вновь остановился. Тут к отступающей юнкерской цепи подошло подкрепление. В нем был один броневик. Серая неуклюжая черепаха с башнями приползла по Московской улице и три раза прокатила по Печерску удар с хвостом кометы, напоминающим шум сухих листьев (три дюйма). Болботун мигом спешился, коноводы увели в переулоч лошадей, полк Болботуна разлегся цепями, немножко осев назад к Печерской площади, и началась вялая дуэль. Черепаха записала Московскую улицу и изредка грохотала.

лянский... Это неприлично – походить на Онегина. Ты как-то слишком здоров... В тебе нет благородной червоточины, которая могла бы сделать тебя действительно выдающимся человеком наших дней... Вот я гнию, и горжусь этим... Ты слишком здоров, но ты силен, как винт, поэтому винтись туда!.. Винтись ввысь!.. Вот так...

И сифилитик показал, как нужно это делать. Обхватив фонарь, он действительно винтился возле него, став каким-то образом длинным и тонким, как уж. Проходили проститутки мимо, в зеленых, красных, черных и белых шапочках, красивые, как куклы, и весело бормотали винту:

– Занюхался, т-твою мать?

Очень далеко стреляли пушки, и Михаил Семенович действительно походил на Онегина под снегом, летящим в электрическом свете.

– Иди спать, – говорил он винту-сифилитику, немного отворачивая лицо, чтоб тот не кашлянул на него, – иди. – Он толкал концами пальцев козье пальто в грудь. Черные лайковые перчатки касались вытертого шевиота, и глаза у толкаемого были совершенно стеклянными. Разошлись.

Михаил Семенович подозвал извозчика, крикнул ему:

«Мало-Провальная», – и уехал, а козий мех, пошатываясь, пешком отправился к себе на Подол.

В квартире библиотекаря, ночью, на Подоле, перед зеркалом, держа зажженную свечу в руке, стоял обнаженный до пояса владелец козьего меха. Страх скакал в глазах у него, как черт, руки дрожали, и сифилитик говорил, и губы у него прыгали, как у ребенка.

– Боже мой, боже мой, боже мой... Ужас, ужас, ужас... Ах, этот вечер! Я несчастлив. Ведь был же со мной и Шейер, и вот он здоров, он не заразился, потому что он счастливый человек. Может быть, пойти и убить эту самую Лельку? Но какой смысл? Кто мне объяснит, какой смысл? О господи, господи... Мне двадцать четыре года, и я мог бы, мог бы... Пройдет пятнадцать лет, может быть, меньше, и вот разные зрачки, гнущиеся ноги, потом безумные идиотские речи, а потом – я гнилой, мокрый труп.

Обнаженное до пояса худое тело отражалось в пыльном трюмо, свеча нагорала в высоко поднятой руке, и на груди была видна нежная и тонкая звездная сыпь. Слезы неудержимо текли по щекам больного, и тело его тряслось и колыхалось.

– Мне нужно застрелиться. Но у меня на это нет сил, к чему тебе, мой бог, я буду лгать? К чему тебе я буду лгать, мое отражение?

Он вынул из ящика маленького дамского письменного стола тонкую книгу, отпечатанную на сквернейшей серой бумаге. На обложке ее было напечатано красными буквами:

фантомисты – футуристы

Стихи:

М. Шполянского.

Б. Фридмана.

В. Шаркевича.

И. Русакова.

Москва, 1918

На странице тринадцатой раскрыл бедный больной книгу и увидел знакомые строки:

Ив. Русаков

БОГОВО ЛОГОВО

Раскинут в небе
Дымный лог.
Как зверь, сосущий лапу,
Великий сущий папа
Медведь мохнатый
Бог.
В берлоге
Логе
Бейте бога.
Звук алый
Боговой битвы
Встречаю матерной молитвой.

– Ах-а-ах, – стиснув зубы, болезненно застонал больной. – Ах, – повторил он в неизбежной муке.

Он с искаженным лицом вдруг плюнул на страницу со стихотворением и бросил книгу на пол, потом опустился на колени и, крестясь мелкими дрожащими крестами, кланяясь и касаясь холодным лбом пыльного паркета, стал молиться, возводя глаза к черному безотрадному окну:

– Господи, прости меня и помилуй за то, что я написал эти гнусные слова. Но зачем же ты так жесток? Зачем? Я знаю, что ты меня наказал. О, как страшно ты меня наказал! Посмотри, пожалуйста, на мою кожу. Клянусь тебе всем святым, всем дорогим на свете, памятью мамы-покойницы – я достаточно наказан. Я верю в тебя! Верю душой, телом, каждой нитью мозга. Верю и прибегаю только к тебе, потому что нигде на свете нет никого, кто бы мог мне помочь. У меня нет надежды ни на кого, кроме как на тебя. Прости меня и сделай так, чтобы лекарства мне помогли! Прости меня, что я решил, будто бы тебя нет: если бы тебя не было, я был бы сейчас жалкой паршивой собакой без надежды. Но я человек и силен только потому, что ты существуешь и во всякую минуту я могу обратиться к тебе с мольбой о помощи. И я верю, что ты услышишь мои мольбы, простишь меня и вылечишь. Излечи меня, о господи, забудь о той гнусности, которую я написал в припадке безумия, пьяный, под кокаином. Не дай мне сгнить, и я клянусь, что я вновь стану человеком. Укрепи мои силы, избавь меня от кокаина, избавь от слабости духа и избавь меня от Михаила Семеновича Шполянского!..

Свеча наплавала, в комнате холодело, под утро кожа больного покрылась мелкими пузырьками и на душе у больного значительно полегчало.

Михаил же Семенович Шполянский провел остаток ночи на Малой Провальной улице в большой комнате с низким потолком и старым портретом, на котором тускло глядели, тронутые временем, эпoletы сороковых годов. Михаил Семенович, без пиджака, в одной белой зефирной сорочке, поверх которой красовался черный с большим вырезом жилет, сидел на узенькой козетке и говорил женщине с бледным и матовым лицом такие слова:

– Ну, Юлия, я окончательно решил и поступаю к этой сволочи – гетману в броневой дивизион.

После этого женщина, кутающаяся в серый пуховый платок, истерзанная полчаса тому назад и смятая поцелуями страстного Онегина, ответила так:

– Я очень жалею, что никогда я не понимала и не могу понимать твоих планов.

Михаил Семенович взял со столика перед козеткой стянутую в талии рюмочку душистого коньяку, хлебнул и молвил:

– И не нужно.

Через два дня после этого разговора Михаил Семенович преобразился. Вместо цилиндра на нем оказалась фуражка блином, с офицерской кокардой, вместо штатского платья – короткий полушубок до колен и на нем смятые защитные погоны. Руки в перчатках с раструбами, как у Марсея в «Гугенотах», ноги в гетрах. Весь Михаил Семенович с ног до головы был вымазан в машинном масле (даже лицо) и почему-то в саже. Один раз, и именно девятого декабря, две машины ходили в бой под Городом и, нужно сказать, успех имели чрезвычайный. Они проползли верст двадцать по шоссе, и после первых же их трехдюймовых ударов и пулеметного воя петлюровские цепи бежали от них. Прапорщик Страшкевич, румяный энтузиаст и командир четвертой машины, клялся Михаилу Семеновичу, что все четыре машины, ежели бы их выпустить разом, одни могли бы отстоять Город. Разговор этот происходил девятого вечером, а одиннадцатого в группе Щура, Копылова и других (наводчики, два шофера и механик) Шполянский, дежурный по дивизиону, говорил в сумерки так:

– Вы знаете, друзья, в сущности говоря, большой вопрос, правильно ли мы делаем, отставив этого гетмана. Мы представляем собой в его руках не что иное, как дорогую и опасную игрушку, при помощи которой он насаждает самую черную реакцию. Кто знает, быть может, столкновение Петлюры с гетманом исторически показано и из этого столкновения должна родиться третья историческая сила, и, возможно, единственно правильная.

Слушатели обожали Михаила Семеныча за то же, за что его обожали в клубе «Прах», – за исключительное красноречие.

– Какая же это сила? – спросил Копылов, пыхтя козьей ножкой.

Умный коренастый блондин Щур хитро прищурился и подмигнул собеседникам куда-то на северо-восток. Группа еще немножко побеседовала и разошлась. Двенадцатого декабря вечером произошла в той же тесной компании вторая беседа с Михаилом Семеновичем за автомобильными сараями. Предмет этой беседы остался неизвестным, но зато хорошо известно, что накануне четырнадцатого декабря, когда в сараях дивизиона дежурили Щур, Копылов и курносый Петрухин, Михаил Семенович явился в сарай, имея при себе большой пакет в оберточной бумаге. Часовой Щур пропустил его в сарай, где тускло и красно горела мерзкая лампочка, а Копылов довольно фамильярно подмигнул на мешок и спросил:

– Сахар?

– Угу, – ответил Михаил Семенович.

В сарае заходил фонарь возле машин, мелькая, как глаз, и озабоченный Михаил Семенович возился вместе с механиком, приготавливая их к завтрашнему выступлению.

Причина: бумага у командира дивизиона капитана Плешко – «четырнадцатого декабря, в восемь часов утра, выступить на Печерск с четырьмя машинами».

Совместные усилия Михаила Семеновича и механика к тому, чтобы приготовить машины к бою, дали какие-то странные результаты. Совершенно здоровые еще накануне три машины (четвертая была в бою под командой Страшкевича) в утро четырнадцатого декабря не могли двинуться с места, словно их разбил паралич. Что с ними случилось, никто понять не мог. Какая-то дрянь осела в жиклерах, и сколько их ни продували шинными насосами, ничего не помогло. Утром возле трех машин в мутном рассвете была горестная суета с фонарями. Капитан Плешко был бледен, оглядывался, как волк, и требовал механика. Тут-то и начались катастрофы. Механик исчез. Выяснилось, что адрес его в дивизионе, вопреки всем правилам, совершенно неизвестен. Прошел слух, что механик внезапно заболел сыпным тифом. Это было в восемь часов, а в восемь часов тридцать минут капитана Плешко постиг второй удар. Прапорщик Шполянский, уехавший в четыре часа ночи после возни с машинами на Печерск на мотоциклетке, управляемой Щуром, не вернулся. Возвратился один Щур и рассказал горестную историю. Мотоциклетка заехала в Верхнюю Теличку, и тщетно Щур отговаривал прапорщика Шполянского от безрассудных поступков. Означенный Шполянский, известный всему дивизиону своей исключительной храбростью, оставив Щура и взяв карабин и ручную гранату,

отправился один во тьму на разведку к железнодорожному полотну. Щур слышал выстрелы. Щур совершенно уверен, что передовой разъезд противника, заскочивший в Теличку, встретил Шполянского и, конечно, убил его в неравном бою. Щур ждал прапорщика два часа, хотя тот приказал ждать его всего лишь один час, а после этого вернуться в дивизион, дабы не подвергать опасности себя и казенную мотоциклетку № 8175.

Капитан Плешко стал еще бледнее после рассказа Щура. Птички в телефоне из штаба гетмана и генерала Каргузова вперевод пели и требовали выхода машин. В девять часов вернулся на четвертой машине с позиции румяный энтузиаст Страшкевич, и часть его румянца передалась на щеки командиру дивизиона. Энтузиаст повел машину на Печерск, и она, как уже было сказано, заперла Суворовскую улицу.

В десять часов утра бледность Плешко стала неизменной. Бесследно исчезли два наводчика, два шофера и один пулеметчик. Все попытки двинуть машины остались без результата. Не вернулся с позиции Щур, ушедший по приказанию капитана Плешко на мотоциклетке. Не вернулась, само собою понятно, и мотоциклетка, потому что не может же она сама вернуться! Птички в телефонах начали угрожать. Чем больше рассветал день, тем больше чудес происходило в дивизионе. Исчезли артиллеристы Дуван и Мальцев и еще парочка пулеметчиков. Машины приобрели какой-то загадочный и заброшенный вид, возле них валялись гайки, ключи и какие-то ведра.

А в полдень, в полдень исчез сам командир дивизиона капитан Плешко.

10

Странные перетасовки, переброски, то стихийно боевые, то связанные с приездом ординарцев и писком штабных ящиков, трое суток водили часть полковника Най-Турса по снежным сугробам и завалам под Городом, на протяжении от Красного Трактира до Серебрянки на юге и до Поста-Вольнского на юго-западе. Вечер же на четырнадцатое декабря привел эту часть обратно в Город, в переулок, в здание заброшенных, с наполовину выбитыми стеклами, казарм.

Часть полковника Най-Турса была странная часть. И всех, кто видел ее, она поражала своими валенками. При начале последних трех суток в ней было около ста пятидесяти юнкеров и три прапорщика.

К начальнику первой дружины генерал-майору Блохину в первых числах декабря явился среднего роста, черный, гладко выбритый, с траурными глазами кавалерист в полковничьих гусарских погонах и отрекомендовался полковником Най-Турсом, бывшим эскадронным командиром второго эскадрона бывшего Белградского гусарского полка. Траурные глаза Най-Турса были устроены таким образом, что каждый, кто ни встречался с прихрамывающим полковником с вытертой георгиевской ленточкой на плохой солдатской шинели, внимательнейшим образом выслушивал Най-Турса. Генерал-майор Блохин после недолгого разговора с Наем поручил ему формирование второго отдела дружины с таким расчетом, чтобы оно было закончено к тринадцатому декабря. Формирование удивительным образом закончилось десятого декабря, и десятого же полковник Най-Турс, необычайно скупой на слова вообще, коротко заявил генерал-майору Блохину, терзаемому со всех сторон штабными птичками, о том, что он, Най-Турс, может выступить уже со своими юнкерами, но при обязательном условии, что ему дадут на весь отряд в сто пятьдесят человек папахи и валенки, без чего он, Най-Турс, считает войну совершенно невозможной. Генерал Блохин, выслушав картавого и лаконического полковника, охотно выписал ему бумагу в отдел снабжения, но предупредил полковника, что по этой бумаге он наверняка ничего не получит ранее, чем через неделю, потому что в этих отделах снабжения и в штабах невероятнейшая чепуха, кутерьма и безобразия. Картавый Най-Турс забрал бумагу, по своему обыкновению, дернул левым подстриженным усом и, не поворачивая головы ни вправо, ни влево (он не мог ее поворачивать, потому что после ранения у него

была сведена шея, и в случае необходимости посмотреть вбок он поворачивался всем корпусом), отбыл из кабинета генерал-майора Блохина. В помещении дружины на Львовской улице Най-Турс взял с собою десять юнкеров (почему-то с винтовками) и две двуколки и направился с ними в отдел снабжения.

В отделе снабжения, помещавшемся в прекраснейшем особнячке на Бульварно-Кудрявской улице, в уютном кабинетике, где висела карта России и со времен Красного Креста оставшийся портрет Александры Федоровны, полковника Най-Турса встретил маленький, румяный странненьким румянцем, одетый в серую тужурку, из-под ворота которой выглядывало чистенькое белье, делавшее его чрезвычайно похожим на министра Александра II, Милютина, генерал-лейтенант Макушин.

Оторвавшись от телефона, генерал детским голосом, похожим на голос глиняной свистульки, спросил у Ная:

– Что вам угодно, полковник?

– Выступаем сейчас, – лаконически ответил Най, – прошу сточно ваэнки и папахи на двести человек.

– Гм, – сказал генерал, пожевав губами и помяв в руках требование Ная, – видите ли, полковник, сегодня дать не можем. Сегодня составим расписание снабжения частей. Дня через три прошу прислать. И такого количества все равно дать не могу.

Он положил бумагу Най-Турса на видное место под пресс в виде голой женщины.

– Валенки, – монотонно ответил Най и, скосив глаза к носу, посмотрел туда, где находились носки его сапог.

– Как? – не понял генерал и удивленно уставился на полковника.

– Валенки сию минуту давайте.

– Что такое? Как? – генерал выпучил глаза до предела.

Най повернулся к двери, приоткрыл ее и крикнул в теплый коридор особняка:

– Эй, взвод!

Генерал побледнел серенькой бледностью, переметнул взгляд с лица Ная на трубку телефона, оттуда на икону божьей матери в углу, а затем опять на лицо Ная.

В коридоре загремело, застучало, и красные околыши алексеевских юнкерских бескозырок и черные штыки замелькали в дверях. Генерал стал приподниматься с пухлого кресла.

– Я впервые слышу такую вещь... Это бунт...

– Пишите требование, ваше превосходительство, – сказал Най, – нам некогда, нам чегез час выходить. Непгяатель, говогят, под самым гогодом.

– Как?... Что это?...

– Живей, – сказал Най каким-то похоронным голосом.

Генерал, вдавив голову в плечи, выпучив глаза, вытянул из-под женщины бумагу и прыгающей ручкой нацарапал в углу, брызнув чернилами: «Выдать».

Най взял бумагу, сунул ее за обшлаг рукава и сказал юнкерам, наследившим на ковре:

– Ггузите валенки. Живо.

Юнкера, стуча и гремя, стали выходить, а Най задержался. Генерал, багровея, сказал ему:

– Я сейчас звоню в штаб командующего и поднимаю дело о предании вас военному суду.

Эт-то что-то...

– Попгобуйте, – ответил Най и проглотил слюну, – только попгобуйте. Ну, вот попгобуйте гади любопытства. – Он взялся за ручку, выглядывающую из расстегнутой кобуры. Генерал пошел пятнами и онемел.

– Звякни, гвупый стагик, – вдруг задушевно сказал Най, – я тебе из кольта звякну в голову, ты ноги пготянешь.

Генерал сел в кресло. Шея его полезла багровыми складками, а лицо осталось сереньким. Най повернулся и вышел.

Генерал несколько минут сидел в кожаном кресле, потом перекрестился на икону, взялся за трубку телефона, поднес ее к уху, услышал глухое и интимное «станция»... неожиданно ощутил перед собой траурные глаза картавого гусара, положил трубку и выглянул в окно. Увидел, как на дворе суетились юнкера, вынося из черной двери сарая серые связки валенок. Солдатская рожа каптенармуса, совершенно ошеломленного, виднелась на черном фоне. В руках у него была бумага. Най стоял у двуколки, растопырив ноги, и смотрел на нее. Генерал слабой рукой взял со стола свежую газету, развернул ее и на первой странице прочитал:

«У реки Ирпеня столкновения с разъездами противника, пытавшимися проникнуть к Святошину...» -

бросил газету и сказал вслух:

– Будь проклят день и час, когда я ввязался в это...

Дверь открылась, и вошел похожий на бесхвостого хорька капитан – помощник начальника снабжения. Он выразительно посмотрел на багровые генеральские складки над воротничком и молвил:

– Разрешите доложить, господин генерал...

– Вот что, Владимир Федорович, – перебил генерал, задыхаясь и тоскливо блуждая глазами, – я почувствовал себя плохо... прилив... хем... я сейчас поеду домой, а вы, будьте добры, без меня здесь распорядитесь.

– Слушаю, – любопытно глядя, ответил хорек, – как же прикажете быть? Запрашивают из четвертой дружины и из конно-горной валенки. Вы изволили распорядиться двести пар?

– Да. Да! – пронзительно ответил генерал. – Да, я распорядился! Я! Сам! Изволил! У них исключение! Они сейчас выходят. Да. На позиции. Да!!

Любопытные огоньки заиграли в глазах хорька.

– Четыреста пар всего...

– Что ж я сделаю? Что? – сипло вскричал генерал. – Рожу я, что ли?! Рожу валенки? Рожу? Если будут запрашивать – дайте – дайте – дайте!!

Через пять минут на извозчике генерала Макушина отвезли домой.

В ночь с тринадцатого на четырнадцатое мертвые казармы в Брест-Литовском переулке ожили. В громадном заслякощенном зале загорелась электрическая лампа на стене между окнами (юнкера днем висели на фонарях и столбах, протягивая какие-то проволоки). Полтораста винтовок стояли в козлах, и на грязных нарах вповалку спали юнкера. Най-Турс сидел у деревянного колченого стола, заваленного краюхами хлеба, котелками с остатками простывшей жижи, подсумками и обоями, разложив пестрый план Города. Маленькая кухонная лампочка отбрасывала пучок света на разрисованную бумагу, и Днепр был виден на ней разветвленным, сухим и синим деревом.

Около двух часов ночи сон стал морить Ная. Он шмыгал носом, клонился несколько раз к плану, как будто что-то хотел разглядеть в нем. Наконец негромко крикнул:

– Юнкег?!

– Я, господин полковник, – отозвалось у двери, и юнкер, шурша валенками, подошел к лампе.

– Я сейчас лягу, – сказал Най, – а вы меня газбудите чегез тги часа. Если будет телефоног'амма, газбудите пгапогщика Жагова, и в зависимости от ее содегжания он будет меня будить или нет.

Никакой телефонограммы не было... Вообще в эту ночь штаб не беспокоил отряд Ная. Вышел отряд на рассвете с тремя пулеметами и тремя двуколками и растянулся по дороге. Окраинные домишки словно вымерли. Но, когда отряд вышел на Политехническую широчай-

шую улицу, на ней застал движение. В ранненьких сумерках мелькали, погромыхая, фуры, брели серые отдельные папахи. Все это направлялось назад в Город и часть Ная обходило с некоторой пугливостью. Медленно и верно рассветало, и над садами казенных дач, над утоптаным и выбитым шоссе вставал и расходился туман.

С этого рассвета до трех часов дня Най находился на Политехнической стреле, потому что днем все-таки приехал юнкер из его связи на четвертой двуколке и привез ему записку карандашом из штаба:

«Охранять Политехническое шоссе и, в случае появления неприятеля, принять бой».

Этого неприятеля Най-Турс увидел впервые в три часа дня, когда на левой руке, вдали, на заснеженном плацу военного ведомства, показались многочисленные всадники. Это и был полковник Козырь-Лешко, согласно диспозиции полковника Торопца пытающийся войти на стрелу и по ней проникнуть в сердце Города. Собственно говоря, Козырь-Лешко, не встретивший до самого подхода к Политехнической стреле никакого сопротивления, не нападал на Город, а вступал в него, вступал победно и широко, прекрасно зная, что следом за его полком идет еще курень конных гайдамаков полковника Сосненко, два полка синей дивизии, полк сечевых стрельцов и шесть батарей. Когда на плацу показались конные точки, шрапнели стали рваться высоко, по-журавлиному, в густом, обещающем снег небе. Конные точки собрались в ленту и, захватив во всю ширину шоссе, стали пухнуть, чернеть, увеличиваться и покатились на Най-Турса. По цепям юнкеров прокатился грохот затворов, Най вынул свисток, пронзительно свистнул и закричал:

– Пгямо по каваеггии!.. залпами... о-гонь!

Искра прошла по серому строю цепей, и юнкера отправили Козырю первый залп. Три раза после этого рвало штуку полотна от самого неба до стен Политехнического института, и три раза, отражаясь хлещущим громом, стрелял Най-Турсов батальон. Конные черные ленты вдали сломались, рассыпались и исчезли с шоссе.

Вот в это-то время с Наем что-то произошло. Собственно говоря, ни один человек в отряде еще ни разу не видел Ная испуганным, а тут показалось юнкерам, будто Най увидел что-то опасное где-то в небе, не то услышал вдали... одним словом, Най приказал отходить на Город. Один взвод остался и, перекатывая рокот, бил по стреле, прикрывая отходящие взводы. Затем перебежал и сам. Так две версты бежали, припадая и будя эхом великую дорогу, пока не оказались на скрещении стрелы с тем самым Брест-Литовским переулком, где провели прошлую ночь. Перекресток умер совершенно, и нигде не было ни одной души.

Здесь Най отделил трех юнкеров и приказал им:

– Бегом на Полевую и на Богшаговскую, узнать, где наши части и что с ними. Если встретите фугы, двуколки или какие-нибудь следства пегедвижения, отступающие неорганизованно, взять их. В случае сопготивления уг'ожать оружием, а затем его и пгименить...

Юнкера убежали назад и налево и скрылись, а спереди вдруг откуда-то начали бить в отряд пули. Они застучали по крышам, стали чаще, и в цепи упал юнкер лицом в снег и окрасил его кровью. За ним другой, охнув, отвалился от пулемета. Цепи Ная растянулись и стали гулко рокотать по стреле беглым непрерывным огнем, встречая колдовским образом вырастающие из земли темненькие цепочки неприятеля. Раненых юнкеров подняли, размоталась белая марля. Скулы Ная пошли желваками. Он все чаще и чаще поворачивал туловище, стараясь далеко заглянуть во фланги, и даже по его лицу было видно, что он нетерпеливо ждет посланных юнкеров. И они наконец прибежали, пыхтя, как загнанные гончие, со свистом и хрипом. Най насторожился и потемнел лицом. Первый юнкер добежал до Ная, стал перед ним и сказал, задыхаясь:

– Господин полковник, никаких наших частей нет не только на Шулявке, но и нигде нет, – он перевел дух. – У нас в тылу пулеметная стрельба, и неприятельская конница сейчас прошла вдали по Шулявке, как будто бы входя в Город...

Слова юнкера в ту же секунду покрыл оглушительный свист Ная.

Три двуколки с громом выскочили в Брест-Литовский переулочек, простучали по нему, а оттуда по Фонарному и покатали по ухабам. В двуколках увезли двух раненых юнкеров, пятнадцать вооруженных и здоровых и все три пулемета. Больше двуколки взять не могли. А Най-Турс повернулся лицом к цепям и зычно и картаво отдал юнкерам никогда ими не слыханную, странную команду...

В облупленном и жарко натопленном помещении бывших казарм на Львовской улице томился третий отдел первой пехотной дружины, в составе двадцати восьми человек юнкеров. Самое интересное в этом томлении было то, что командиром этих томящихся оказался своей персоной Николка Турбин. Командир отдела, штабс-капитан Безруков, и двое его помощников – прапорщики, утром уехавши в штаб, не возвращались. Николка – ефрейтор, самый старший, шлялся по казарме, то и дело подходя к телефону и посматривая на него.

Так дело тянулось до трех часов дня. Лица у юнкеров в конце концов стали тоскливыми. Эх... эх...

В три часа запищал полевой телефон.

– Это третий отдел дружины?

– Да.

– Командира к телефону.

– Кто говорит?

– Из штаба...

– Командир не вернулся.

– Кто говорит?

– Унтер-офицер Турбин.

– Вы старший?

– Так точно.

– Немедленно выведите команду по маршруту.

И Николка вывел двадцать восемь человек и повел по улице.

До двух часов дня Алексей Васильевич спал мертвым сном. Проснулся он словно облитый водой, глянул на часики на стуле, увидел, что на них без десяти минут два, и заметался по комнате. Алексей Васильевич натянул валенки, насовал в карманы, торопясь и забывая то одно, то другое, спички, портсигар, платок, браунинг и две обоймы, затянул потуже шинель, потом припомнил что-то, но поколебался, – это показалось ему позорным и трусливым, но все-таки сделал, – вынул из стола свой гражданский врачебный паспорт. Он повертел его в руках, решил взять с собой, но Елена окликнула его в это время, и он забыл его на столе.

– Слушай, Елена, – говорил Турбин, затягивая пояс и нервничая; сердце его сжималось нехорошим предчувствием, и он страдал при мысли, что Елена останется одна с Анютой в пустой большой квартире, – ничего не поделаешь. Не идти нельзя. Ну, со мной, надо полагать, ничего не случится. Дивизион не уйдет дальше окраин Города, а я стану где-нибудь в безопасном месте. Авось бог сохранит и Николку. Сегодня утром я слышал, что положение стало немножко посерьезнее, ну, авось отобьем Петлюру. Ну, прощай, прощай...

Елена одна ходила по опустевшей гостиной от пианино, где, по-прежнему не убранный, виднелся разноцветный Валентин, к двери в кабинет Алексея. Паркет поскрипывал у нее под ногами. Лицо у нее было несчастное.

На углу своей кривой улицы и улицы Владимирской Турбин стал нанимать извозчика. Тот согласился везти, но, мрачно сопя, назвал чудовищную сумму, и видно было, что он не уступит. Скрипнув зубами, Турбин сел в сани и поехал по направлению к музею. Морозило.

На душе у Алексея Васильевича было очень тревожно. Он ехал и прислушивался к отдаленной пулеметной стрельбе, которая взрывами доносилась откуда-то со стороны Политехнического института и как будто бы по направлению к вокзалу. Турбин думал о том, что бы это означало (полуденный визит Болботуна Турбин проспал), и, вертя головой, всматривался в тротуары. На них было хоть и тревожное и сумбурное, но все же большое движение.

– Стой... ст... – сказал пьяный голос.

– Что это значит? – сердито спросил Турбин.

Извозчик так натянул вожжи, что чуть не свалился Турбину на колени. Совершенно красное лицо качалось у оглобли, держась за вожжу и по ней пробираясь к сиденью. На дубленом полушубке поблескивали смятые прапорщичьи погоны. Турбина на расстоянии аршина обдал тяжелый запах перегоревшего спирта и луку. В руках прапорщика покачивалась винтовка.

– Пав... пав... паварачивай, – сказал красный пьяный, – выса... высаживай пассажира... – Слово «пассажир» вдруг показалось красному смешным, и он хихикнул.

– Что это значит? – сердито повторил Турбин. – Вы не видите, кто едет? Я на сборный пункт. Прошу оставить извозчика. Трогай!

– Нет, не трогай... – угрожающе сказал красный и только тут, поморгав глазами, заметил погоны Турбина. – А, доктор, ну, вместе... и я сяду...

– Нам не по дороге... Трогай!

– Па-а-звольте...

– Трогай!

Извозчик, втянув голову в плечи, хотел дернуть, но потом раздумал; обернувшись, он злобно и боязливо покосился на красного. Но тот вдруг отстал сам, потому что заметил пустого извозчика. Пустой хотел уехать, но не успел. Красный обеими руками поднял винтовку и погрозил ему. Извозчик застыл на месте, и красный, спотыкаясь и икая, поплелся к нему.

– Знал бы, за пятьсот не поехал, – злобно бурчал извозчик, нахлестывая круп клячи, – стрельнет в спину, что ж с него возьмешь?

Турбин мрачно молчал.

«Вот сволочь... такие вот позорят все дело», – злобно думал он.

На перекрестке у оперного театра кипела суета и движение. Прямо посередине на трамвайном пути стоял пулемет, охраняемый маленьким изыбшим кадетом, в черной шинели и наушниках, и юнкером в сером. Прохожие, как мухи, кучками лепились по тротуару, любопытно глядя на пулемет. У аптеки, на углу, Турбин уже в виду музея отпустил извозчика.

– Прибавить надо, ваше высокоблагородие, – злобно и настойчиво говорил извозчик, – знал бы, не поехал бы. Вишь, что делается!

– Будет.

– Детей зачем-то ввязали в это... – слышался женский голос.

Тут только Турбин увидел толпу вооруженных у музея. Она колыхалась и густела. Смутно мелькнули между полами шинелей пулеметы на тротуаре. И тут кипуче забарабанил пулемет на Печерске.

Вра... вра... вра... вра... вра... вра...

«Чепуха какая-то уже, кажется, делается», – растерянно думал Турбин и, ускорив шаг, направился к музею через перекресток.

«Неужели опоздал?... Какой скандал... Могут подумать, что я сбежал...»

Прапорщики, юнкера, кадеты, очень редкие солдаты волновались, кипели и бегали у гигантского подъезда музея и у боковых разломанных ворот, ведущих на плац Александров-

ской гимназии. Громадные стекла двери дрожали поминутно, двери стонали, и в круглое белое здание музея, на фронтоне которого красовалась золотая надпись:

«На благое просвещение русского народа»,

вбегали вооруженные, смятые и встревоженные юнкера.

– Боже! – невольно вскрикнул Турбин. – Они уже ушли.

Мортиры безмолвно шурились на Турбина и, одинокие и брошенные, стояли там же, где вчера.

«Ничего не понимаю... что это значит?»

Сам не зная зачем, Турбин побежал по плацу к пушкам. Они выростали по мере движения и грозно смотрели на Турбина. И вот крайняя. Турбин остановился и застыл: на ней не было замка. Быстрым бегом он перерезал плац обратно и выскочил вновь на улицу. Здесь еще больше кипела толпа, кричали многие голоса сразу и торчали и прыгали штыки.

– Картузова надо ждать! Вот что! – выкрикивал звонкий встревоженный голос. Какой-то прапорщик пересек Турбину путь, и тот увидел на спине у него желтое седло с болтающимися стременами.

– Польскому легиону отдать.

– А где он?

– А черт его знает!

– Все в музей! Все в музей!

– На Дон!

Прапорщик вдруг остановился, сбросил седло на тротуар.

– К чертовой матери! Пусть пропадет все, – яростно завопил он, – ах, штабные!..

Он метнулся в сторону, грозя кому-то кулаками.

«Катастрофа... Теперь понимаю... Но вот в чем ужас – они, наверно, ушли в пешем строю. Да, да, да... Несомненно. Вероятно, Петлюра подошел неожиданно. Лошадей нет, и они ушли с винтовками, без пушек... Ах ты, боже мой... к Анжу надо бежать... Может быть, там узнаю... Даже наверно, ведь кто-нибудь же да остался?»

Турбин выскочил из вертящейся суеты и, больше ни на что не обращая внимания, побежал назад, к оперному театру. Сухой порыв ветра пролетел по асфальтовой дорожке, окаймляющей театр, и пошевелил край полуоборванной афиши на стене театра, у чернооконного бокового подъезда. Кармен. Кармен.

И вот Анжу. В окнах нет пушек, в окнах нет золотых погон. В окнах дрожит и переливается огненный, зыбкий отсвет. Пожар? Дверь под руками Турбина звякнула, но не поддавалась. Турбин постучал тревожно. Еще раз постучал. Серая фигура, мелькнув за стеклом двери, открыла ее, и Турбин попал в магазин. Турбин, оторопев, всмотрелся в неизвестную фигуру. На ней была студенческая черная шинель, а на голове штатская, молью траченная, шапка с ушами, притянутыми на темя. Лицо странно знакомое, но как будто чем-то обезображенное и искаженное. Печь яростно гудела, пожирая какие-то листки бумаги. Бумагой был усеян весь пол. Фигура, впустив Турбина, ничего не объясняя, тотчас же метнулась от него к печке и села на корточки, причем багровые отблески заиграли на ее лице.

«Мальшев? Да, полковник Мальшев», – узнал Турбин.

Усов на полковнике не было. Гладкое синевыбитое место было вместо них.

Мальшев, широко отмахнув руку, сгреб с полу листы бумаги и сунул их в печку.

«Ага... а».

– Что это? Кончено? – глухо спросил Турбин.

– Кончено, – лаконически ответил полковник, вскочил, рванулся к столу, внимательно обшарил его глазами, несколько раз хлопнул ящиками, выдвигая и задвигая их, быстро согнулся, подобрал последнюю пачку листов на полу и их засунул в печку. Лишь после этого

он повернулся к Турбину и прибавил иронически спокойно: – Повоевали – и будет! – Он полез за пазуху, вытащил торопливо бумажник, проверил в нем документы, два каких-то листка надорвал крест-накрест и бросил в печь. Турбин в это время всматривался в него. Ни на какого полковника Малышев больше не походил. Перед Турбиным стоял довольно плотный студент, актер-любитель с припухшими малиновыми губами.

– Доктор? Что же вы? – Малышев беспокойно указал на плечи Турбина. – Снимите скорей. Что вы делаете? Откуда вы? Не знаете, что ли, ничего?

– Я опоздал, полковник, – начал Турбин.

Малышев весело улыбнулся. Потом вдруг улыбка слетела с лица, он виновато и тревожно качнул головой и молвил:

– Ах ты, боже мой, ведь это я вас подвел! Назначил вам этот час... Вы, очевидно, днем не выходили из дому? Ну, ладно. Об этом нечего сейчас говорить. Одним словом: снимайте скорее погоны и бегите, прячьтесь.

– В чем дело? В чем дело, скажите, ради бога?...

– Дело? – иронически весело переспросил Малышев. – Дело в том, что Петлюра в городе. На Печерске, если не на Крещатике уже. Город взят. – Малышев вдруг оскалил зубы, скосил глаза и заговорил опять неожиданно не как актер-любитель, а как прежний Малышев: – Штабы предали нас. Еще утром надо было разбегаться. Но я, по счастью, благодаря хорошим людям, узнал все еще ночью и дивизион успел разогнать. Доктор, некогда думать, снимайте погоны!

– ...а там, в музее, в музее...

Малышев потемнел.

– Не касается, – злобно ответил он, – не касается! Теперь меня ничего больше не касается. Я только что был там, кричал, предупреждал, просил разбежаться. Больше сделать ничего не могу-с. Своих я всех спас. На убой не послал! На позор не послал! – Малышев вдруг начал выкрикивать истерически, очевидно, что-то нагорело в нем и лопнуло, и больше себя он сдерживать не мог. – Ну, генералы! – Он сжал кулаки и стал грозить кому-то. Лицо его побагровело.

В это время с улицы откуда-то в высоте взвыл пулемет, и показалось, что он трясет большой соседний дом.

Малышев встрепенулся, сразу стих.

– Ну-с, доктор, ходу! Прощайте. Бегите! Только не на улицу, а вот отсюда, через черный ход, а там дворами. Там еще открыто. Скорей.

Малышев пожал руку ошеломленному Турбину, круто повернулся и убежал в темное ущелье за перегородкой. И сразу стихло в магазине. А на улице стих пулемет.

Наступило одиночество. В печке горела бумага. Турбин, несмотря на окрики Малышева, как-то вяло и медленно подошел к двери. Нашарил крючок, спустил его в петлю и вернулся к печке. Несмотря на окрики, Турбин действовал не спеша, на каких-то вялых ногах, с вялыми, скомканными мыслями. Непрочный огонь пожрал бумагу, устье печки из веселого пламенного превратилось в тихое красноватое, и в магазине сразу потемнело. В сереньких тенях лепились полки по стенам. Турбин обвел их глазами и вяло же подумал, что у мадам Анжу еще до сих пор пахнет духами. Нежно и слабо, но пахнет.

Мысли в голове у Турбина сбились в бесформенную кучу, и некоторое время он совершенно бессмысленно смотрел туда, где исчез побритый полковник. Потом, в тишине, ком постепенно размотался. Вылез самый главный и яркий лоскут – Петлюра тут. «Пэтурра, Пэтурра», – слабенько повторил Турбин и усмехнулся, сам не зная чему. Он подошел к зеркалу в простенке, затянутому слоем пыли, как тафтой.

Бумага догорела, и последний красный язычок, подразнив немного, угас на полу. Стало сумеречно.

– Петлюра, это так дико... В сущности, совершенно пропащая страна, – пробормотал Турбин в сумерках магазина, но потом опомнился: – Что же я мечтаю? Ведь, чего доброго, сюда нагрянут?

Тут он заметался, как и Малышев перед уходом, и стал срывать погоны. Нитки затрепали, и в руках остались две серебряных потемневших полоски с гимнастерки и еще две зеленых с шинели. Турбин поглядел на них, повертел в руках, хотел спрятать в карман на память, но подумал и сообразил, что это опасно, решил сжечь. В горячем материале недостатка не было, хоть Малышев и спалил все документы. Турбин нагреб с полу целый ворох шелковых лоскутов, всунул его в печь и поджег. Опять заходили уроды по стенам и по полу, и опять временно ожило помещенье мадам Анжу. В пламени серебряные полоски покоробились, вздулись пузырями, стали смуглыми, потом скорчились...

Возник существенно важный вопрос в турбинской голове – как быть с дверью? Оставить на крючке или открыть? Вдруг кто-нибудь из добровольцев, вот так же, как Турбин, отставший, прибежит, – ан укрыться-то и негде будет! Турбин открыл крючок. Потом его обожгла мысль: паспорт? Он ухватился за один карман, другой – нет. Так и есть! Забыл, ах, это уже скандал. Вдруг нарвешься на них? Шинель серая. Спросят – кто? Доктор... а вот докажи-ка! Ах, чертова рассеянность!

«Скорее», – шепнул голос внутри.

Турбин, больше не раздумывая, бросился в глубь магазина и по пути, по которому ушел Малышев, через маленькую дверь выбежал в темноватый коридор, а оттуда по черному ходу во двор.

11

Повинуясь телефонному голосу, унтер-офицер Турбин Николай вывел двадцать восемь человек юнкеров и через весь Город провел их согласно маршруту. Маршрут привел Турбина с юнкерами на перекресток, совершенно мертвенный. Никакой жизни на нем не было, но грохоту было много. Кругом – в небе, по крышам, по стенам – гремели пулеметы.

Неприятель, очевидно, должен был быть здесь, потому что это был последний, конечный пункт, указанный телефонным голосом. Но никакого неприятеля пока что не показывалось, и Николка немного запутался – что делать дальше? Юнкера его, немножко бледные, но все же храбрые, как и их командир, разлеглись цепью на снежной улице, а пулеметчик Ивашин сел на корточки возле пулемета, у обочины тротуара. Юнкера настороженно глядели вдаль, подымая головы от земли, ждали, что, собственно, произойдет?

Предводитель же их был полон настолько важных и значительных мыслей, что даже осунулся и побледнел. Поражало предводителя, во-первых, отсутствие на перекрестке всего того, что было обещано голосом. Здесь, на перекрестке, Николка должен был застать отряд третьей дружины и «подкрепить его». Никакого отряда не было. Даже и следов его не было.

Во-вторых, поражало Николку то обстоятельство, что боевой пулеметный дробот временами слышался не только впереди, но и слева, и даже, пожалуй, немножко сзади. В-третьих, он боялся испугаться и все время проверял себя: «Не страшно?» – «Нет, не страшно», – отвечал бодрый голос в голове, и Николка от гордости, что он, оказывается, храбрый, еще больше бледнел. Гордость переходила в мысль о том, что если его, Николку, убьют, то хоронить будут с музыкой. Очень просто: плышет по улице белый глазетовый гроб, и в гробу погибший в бою унтер-офицер Турбин с благородным восковым лицом, и жаль, что крестов теперь не дают, а то непременно с крестом на груди и георгиевской лентой. Бабы стоят у ворот. «Кого хоронят, миленькие?» – «Унтер-офицера Турбина...» – «Ах, какой красавец...» И музыка. В бою, знаете ли, приятно помереть. Лишь бы только не мучиться. Размышления о музыке и лентах

несколько скрасили неуверенное ожидание неприятеля, который, очевидно, не повинуюсь телефонному голосу, и не думал показываться.

– Ждать будем здесь, – сказал Николка юнкерам, стараясь, чтобы голос его звучал поувереннее, но тот не очень уверенно звучал, потому что кругом все-таки было немножко не так, как бы следовало, чепуховато как-то. Где отряд? Где неприятель? Странно, что как будто бы в тылу стреляют?

* * *

И предводитель со своим воинством дождался. В поперечном переулке, ведущем с перекрестка на Брест-Литовскую стрелку, неожиданно загремели выстрелы, и посыпались по переулку серые фигуры в бешеном беге. Они неслись прямо на Николкиных юнкеров, и винтовки торчали у них в разные стороны.

«Обошли?» – грянуло в Николкиной голове, он метнулся, не зная, какую команду подать. Но через мгновение он разглядел золотые пятна у некоторых бегущих на плечах и понял, что это свои.

Тяжелые, рослые, запаренные в беге, константиновские юнкера в папахх вдруг остановились, упали на одно колено и, бледно сверкнув, дали два залпа по переулку туда, откуда прибежали. Затем вскочили и, бросая винтовки, кинулись через перекресток, мимо Николкиного отряда. По дороге они рвали с себя погоны, подсумки и пояса, бросали их на разъезженный снег. Рослый, серый, грузный юнкер, равняясь с Николкой, поворачивая к Николкиному отряду голову, зычно, задыхаясь, кричал:

– Бегите, бегите с нами! Спасайся кто может!

Николкины юнкера в цепи стали ошеломленно подниматься. Николка совершенно одурел, но в ту же секунду справился с собой и, молниеносно подумав: «Вот момент, когда можно быть героем», – закричал своим пронзительным голосом:

– Не смей вставать! Слушать команду!!

«Что они делают?» – остервенело подумал Николка.

Константиновцы – их было человек двадцать, – выскочив с перекрестка без оружия, рассыпались в поперечном же Фонарном переулке, и часть из них бросилась в первые громадные ворота. Страшно загрохотали железные двери, и затопали сапоги в звонком пролете. Вторая кучка в следующие ворота. Остались только пятеро, и они, ускоряя бег, понеслись прямо по Фонарному и исчезли вдали.

Наконец на перекресток выскочил последний бежавший, в бледных золотистых погонах на плечах. Николка вмиг обострившимся взглядом узнал в нем командира второго отделения первой дружины, полковника Най-Турса.

– Господин полковник! – смятенно и в то же время обрадованно закричал ему навстречу Николка. – Ваши юнкера бегут в панике.

И тут произошло чудовищное. Най-Турс вбежал на растоптанный перекресток в шинели, подвернутой с двух боков, как у французских пехотинцев. Смятая фуражка сидела у него на самом затылке и держалась ремнем под подбородком. В правой руке у Най-Турса был кольт, и вскрытая кобура била и хлопала его по бедру. Давно не бритое, щетинистое лицо его было грозно, глаза скошены и теперь вблизи на плечах были явственно видны гусарские зигзаги. Най-Турс подскочил к Николке вплотную, взмахнул левой свободной рукой и оборвал с Николки сначала левый, а затем правый погон. Военные лучшие нитки лопнули с треском, причем правый погон отлетел с шинельным мясом. Николку так мотнуло, что он тут же убедился, какие у Най-Турса замечательно крепкие руки. Николка с размаху сел на что-то нетвердое, и это нетвердое выскочило из-под него с воплем и оказалось пулеметчиком Ивашиным. Затем заплясали кругом перекошенные лица юнкеров, и все полетело к чертовой матери. Не

сошел Николка с ума в этот момент лишь потому, что у него на это не было времени, так стремительны были поступки полковника Най-Турса. Обернувшись к разбитому взводу лицом, он взвыл команду необычным, неслыханным картавым голосом. Николка суеверно подумал, что этаким голос слышен на десять верст и, уж наверно, по всему городу.

– Юнкегга! Слушай мою команду: сгывай погоны, кокагды, подсумки, бгосай огужие! По Фонагному пегеулку сквозными двогами на Газъезжую, на Подол! На Подол!! Гвите документы по догоге, пгячьтесь, гассыпьтеь, всех по догоге гоните с собо-о-ой!

Затем, взмахнув кольтом, Най-Турс провыл, как кавалерийская труба:

– По Фонагному! Только по Фонагному! Спасайтесь по домам! Бой кончен! Бегом магш!

Несколько секунд взвод не мог прийти в себя. Потом юнкера совершенно побелели. Ивашин перед лицом Николки рвал погоны, подсумки полетели на снег, винтовка со стуком покапталась по ледяному горбу тротуара. Через полминуты на перекрестке валялись патронные сумки, пояса и чья-то растрепанная фуражка. По Фонарному переулку, влетая во дворы, ведущие на Разъезжую улицу, убегали юнкера.

Най-Турс с размаху всадил кольт в кобуру, подскочил к пулемету у тротуара, скорчился, присел, повернул его носом туда, откуда прибежал, и левой рукой поправил ленту. Обернувшись к Николке с корточек, он бешено загремел:

– Оглох? Беги!

Странный пьяный экстаз поднялся у Николки откуда-то из живота, и во рту моментально пересохло.

– Не желаю, господин полковник, – ответил он суконным голосом, сел на корточки, обеими руками ухватился за ленту и пустил ее в пулемет.

Вдали, там, откуда прибежал остаток Най-Турсова отряда, внезапно выскочило несколько конных фигур. Видно было смутно, что лошади под ними танцуют, как будто играют, и что лезвия серых шашек у них в руках. Най-Турс сдвинул ручки, пулемет грохнул – ар-ра-паа, стал, снова грохнул и потом длинно загремел. Все крыши на домах сейчас же закипели и справа и слева. К конным фигурам прибавилось еще несколько, но затем одну из них швырнуло куда-то в сторону, в окно дома, другая лошадь стала на дыбы, показавшись страшно длинной, чуть не до второго этажа, и несколько всадников вовсе исчезли. Затем мгновенно исчезли, как сквозь землю, все остальные всадники.

Най-Турс развел ручки, кулаком погрозил небу, причем глаза его налились светом, и прокричал:

– Ребят! Ребят!.. Штабные стегвы!..

Обернулся к Николке и выкрикнул голосом, который показался Николке звуком нежной кавалерийской трубы:

– Удигай, гвупый мавый! Говою – удигай!

Он переметнул взгляд назад и убедился, что юнкера уже исчезли все, потом переметнул взгляд с перекрестка вдаль, на улицу, параллельную Брест-Литовской стреле, и выкрикнул с болью и злобой:

– А, чегт!

Николка повернулся за ним и увидел, что далеко, еще далеко на Кадетской улице, у чахлого, засыпанного снегом бульвара, появились темные шеренги и начали припадать к земле. Затем вывеска тут же над головами Най-Турса и Николки, на углу Фонарного переулка:

Зубной врач
Берта Яковлевна
Принц-Металл

хлопнула, и где-то за воротами посыпались стекла. Николка увидал куски штукатурки на тротуаре. Они прыгнули и поскакали. Николка вопросительно вперил взор в полковника Най-

Турса, желая узнать, как нужно понимать эти дальние шеренги и штукатурку. И полковник Най-Турс отнесся к ним странно. Он подпрыгнул на одной ноге, взмахнул другой, как будто в вальсе, и по-бальному оскалился неуместной улыбкой. Затем полковник Най-Турс оказался лежащим у ног Николки. Николкин мозг задернуло черным туманцем, он сел на корточки и, неожиданно для себя, сухо, без слез всхлипнувши, стал тянуть полковника за плечи, пытаясь его поднять. Тут он увидел, что из полковника через левый рукав стала вытекать кровь, а глаза у него зашли к небу.

– Господин полковник, господин...

– Унтег-цег, – выговорил Най-Турс, причем кровь потекла у него изо рта на подбородок, а голос начал вытекать по капле, слабей на каждом слове, – бгосьте гегойствовать, к чегтям, я умигаю... Мало-Пговальная...

Больше он ничего не пожелал объяснить. Нижняя его челюсть стала двигаться. Ровно три раза и судорожно, словно Най давился, потом перестала, и полковник стал тяжелый, как большой мешок с мукой.

«Так умирают? – подумал Николка. – Не может быть. Только что был живой. В бою не страшно, как видно. В меня же почему-то не попадают...»

Зуб...

...врач, —

затрепетало второй раз над головой, и еще где-то лопнули стекла. «Может быть, он просто в обмороке?» – в смятении вздорно подумал Николка и тянул полковника. Но поднять того не было никакой возможности. «Не страшно?» – подумал Николка и почувствовал, что ему безумно страшно. «Отчего? Отчего?» – думал Николка и сейчас же понял, что страшно от тоски и одиночества, что, если бы был сейчас на ногах полковник Най-Турс, никакого бы страха не было... Но полковник Най-Турс был совершенно недвижим, больше никаких команд не подавал, не обращал внимания ни на то, что возле его рукава расширялась красная большая лужа, ни на то, что штукатурка на выступах стен ломалась и крошилась, как сумасшедшая. Николке же стало страшно от того, что он совершенно один. Никакие конные не наскакивали больше сбоку, но, очевидно, все были против Николки, а он последний, он совершенно один... И одиночество погнало Николку с перекрестка. Он полз на животе, перебирая руками, причем правым локтем, потому что в ладони он зажимал Най-Турсов кольт. Самый страх наступает уже в двух шагах от угла. Вот сейчас попадут в ногу, и тогда не уползешь, наедут петлюровцы и изрубят шашками. Ужасно, когда лежишь, а тебя рубят... Я буду стрелять, если в кольте есть патроны... И всего-то полтора шага... подтянуться, подтянуться... раз... и Николка за стеной в Фонарном переулке.

«Удивительно, страшно удивительно, что не попали. Прямо чудо. Это уж чудо господа бога, – думал Николка, поднимаясь, – вот так чудо. Теперь сам видал – чудо. Собор Парижской Богоматери. Виктор Гюго. Что-то теперь с Еленой? А Алексей? Ясно – рвать погоны, значит, произошла катастрофа».

Николка вскочил, весь до шеи вымазанный снегом, сунул кольт в карман шинели и полетел по переулку. Первые же ворота на правой руке зияли, Николка вбежал в гулкий пролет, выбежал на мрачный, скверный двор с сараями красного кирпича по правой и кладкой дров по левой, сообразил, что сквозной проход посередине, скользя, бросился туда и напоролся на чело- века в тулупе. Совершенно явственно. Рыжая борода и маленькие глазки, из которых сочится ненависть. Курносый, в бараньей шапке, Нерон. Человек, как бы играя в веселую игру, обхватил Николку левой рукой, а правой уцепился за его левую руку и стал выкручивать ее за спину. Николка впал в ошеломление на несколько мгновений. «Боже. Он меня схватил, ненавидит!.. Петлюровец...»

– Ах ты, наволочь! – сипло закричал рыжебородый и запыхтел. – Куды? Стой! – потом вдруг завопил: – Держи, держи. Юнкерей держи. Погон скинул, думаешь, сволота, не узнают? Держи!

Бешенство овладело всем Николкой, с головы до ног. Он резко сел вниз, сразу, так что лопнул сзади хлястик на шинели, повернулся и с неестественной силой вылетел из рук рыжего. Секунду он его не видел, потому что оказался к нему спиной, но потом повернулся и опять увидел. У рыжебородого не было никакого оружия, он даже не был военным, он был дворник. Ярость пролетела мимо Николкиных глаз совершенно красным одеялом и сменилась чрезвычайной уверенностью. Ветер и мороз залетел Николке в жаркий рот, потому что он оскалился, как волчонок. Николка выбросил руку с кольцом из кармана, подумав: «Убью гадину, лишь бы были патроны». Голоса своего он не узнал, до того голос был чужд и страшен.

– Убью, гад! – Николка просипел, шаря пальцами в мудреном кольце, и мгновенно сообразил, что он забыл, как из него стрелять. Желто-рыжий дворник, увидавший, что Николка вооружен, в отчаянии и ужасе пал на колени и взвыл, чудесным образом превратившись из Нерона в змею:

– А! Ваше благородие! Ваше...

Все равно Николка непременно бы выстрелил, но кольт не пожелал выстрелить. «Разряжен. Эх, беда!» – вихрем подумал Николка. Дворник, рукой закрываясь и птясь, с колен садился на корточки, отваливаясь назад, и выл истошно, губя Николку. Не зная, что сделать, чтобы закрыть эту громкую пасть в медной бороде, Николка в отчаянии от нестреляющего револьвера, как боевой петух, наскочил на дворника и тяжело ударил его, рискуя застрелить самого себя, ручкой в зубы. Николкина злоба вылетела мгновенно. Дворник же вскочил на ноги и побежал от Николки в тот пролет, откуда Николка появился. Сходя с ума от страху, дворник уже не выл, бежал, скользя по льду и спотыкаясь, раз обернулся, и Николка увидел, что половина его бороды стала красной. Затем он исчез. Николка же бросился вниз, мимо сарая, к воротам на Разъезжую и возле них впал в отчаяние. «Конечно. Опоздал. Попался. Боже, и не стреляет». Тщетно он тряс огромный болт и замок. Ничего сделать было нельзя. Рыжий дворник, лишь только проскочили Най-Турсовы юнкера, запер ворота на Разъезжую, и перед Николкой была совершенно неодолимая преграда – гладкая доверху, глухая железная стена. Николка обернулся, глянул на небо, чрезвычайно низкое и густое, увидел на брандмауэре легкую черную лестницу, уходившую на самую крышу четырехэтажного дома. «Полезть разве?» – подумал он, и при этом ему дурачки вспомнилась пестрая картинка: Нат Пинкертон в желтом пиджаке и с красной маской на лице лезет по такой же самой лестнице. «Э, Нат Пинкертон, Америка... а я вот влезу и потом что? Как идиот буду сидеть на крыше, а дворник зовет в это время петлюровцев. Этот Нерон предаст... Зубы я ему расколотил... Не простит!»

И точно. Из-под ворот в Фонарный переулок Николка услышал призывные отчаянные вопли дворника: «Сюды! Сюды!» – и копытный топот. Николка понял: вот что – конница Петлюры заскочила с фланга в Город. Сейчас она уже в Фонарном переулке. То-то Най-Турс и кричал... на Фонарный возвращаться нельзя.

Все это он сообразил уже, неизвестно каким образом оказавшись на штабеле дров, рядом с сараем, под стеной соседнего дома. Обледеневшие поленья зашатались под ногами, Николка заковылял, упал, разорвал штанину, добрался до стены, глянул через нее и увидел точь-в-точь такой же двор. Настолько такой, что он ждал, что опять выскочит рыжий Нерон в полушубке. Но никто не выскочил. Страшно оборвалось в животе и в поясице, и Николка сел на землю, в ту же секунду его кольт прыгнул в руке и оглушительно выстрелил. Николка удивился, потом сообразил: «Предохранитель-то был заперт, а теперь я его сдвинул. Оказия».

Черт. И тут ворота на Разъезжую глухие. Заперты. Значит, опять к стене. Но, увы, дров уже нет. Николка запер предохранитель и сунул револьвер в карман. Полез по куче битого кирпича, а затем, как муха, по отвесной стене, вставляя носки в такие норки, что в мирное время

не поместилась бы и копейка. Оборвал ногти, окровенил пальцы и всцарапался на стену. Лежа на ней животом, услышал, что сзади, в первом дворе, раздался оглушительный свист и Неронов голос, а в этом, третьем, дворе в черном окне из второго этажа на него глянуло искаженное ужасом женское лицо и тотчас исчезло. Падая со второй стены, угадал довольно удачно: попал в сугроб, но все-таки что-то свернулось в шее и лопнуло в черепе. Чувствуя гудение в голове и мелькание в глазах, Николка побежал к воротам.

О, ликование! И они заперты, но какой вздор! Сквозная узорная решетка. Николка, как пожарный, полез по ней, перелез, спустился и оказался на Разъезжей улице. Увидел, что она была совершенно пуста, ни души. «Четверть минутки подышу, не более, а то сердце лопнет», – думал Николка и глотал раскаленный воздух. «Да... документы...» Николка вытащил из кармана блузы пачку замазанных удостоверений и изорвал их. И они разлетелись, как снег. Услышал, что сзади, со стороны того перекрестка, на котором он оставил Най-Турса, загремел пулемет и ему отозвались пулеметы и ружейные залпы впереди Николки, оттуда, из Города. Вот оно что. Город захватили. В Городе бой. Катастрофа. Николка, все еще задыхаясь, обеими руками счищал снег. Кольт бросить? Най-Турсов кольт? Нет, ни за что. Авось удастся проскочить. Ведь не могут же они быть повсюду сразу?

Тяжко вздохнув, Николка, чувствуя, что ноги его значительно ослабели и развинтились, побежал по вымершей Разъезжей и благополучно добрался до перекрестка, откуда расходились две улицы: Лубочицкая на Подол и Ловская, уклоняющаяся в центр Города. Тут увидел лужу крови у тумбы и навоз, две брошенных винтовки и синюю студенческую фуражку. Николка сбросил свою папаху и эту фуражку надел. Она оказалась ему мала и придала ему гадкий, залихватский и гражданский вид. Какой-то босяк, выгнанный из гимназии. Николка осторожно из-за угла заглянул в Ловскую и очень далеко на ней увидел танцующую конницу с синими пятнами на папах. Там была какая-то возня и хлопущие выстрелов. Дернул по Лубочицкой. Тут впервые увидел живого человека. Бежала какая-то дама по противоположному тротуару, и шляпа с черным крылом сидела у нее на боку, а в руках моталась серая кошелка, из нее выдирался отчаянный петух и кричал на всю улицу: «Пэтурра, Пэтурра». Из кулька, в левой руке дамы, сквозь дыру, сыпалась на тротуар морковь. Дама кричала и плакала, бросаясь в стену. Вихрем проскользнул какой-то мещанин, крестился на все стороны и кричал:

– Господисусе! Володька, Володька! Петлюра идет!

В конце Лубочицкой уже многие сновали, суетились и убегали в ворота. Какой-то человек в черном пальто ошалел от страха, рванулся в ворота, засадил в решетку свою палку и с треском ее сломал.

А время тем временем летело и летело, и, оказывается, налетали уже сумерки, и поэтому, когда Николка с Лубочицкой выскочил в Вольский спуск, на углу вспыхнул электрический фонарь и зашипел. В лавчонке бухнула штора и сразу скрыла пестрые коробки с надписью «мыльный порошок». Извозчик на санях вывернул их в сугроб совершенно, заворачивая за угол, и хлестал зверски клячу кнутом. Мимо Николки прыгнул назад четырехэтажный дом с тремя подъездами, и во всех трех лупили двери поминутно, и некий, в котиковом воротнике, проскочил мимо Николки и завыл в ворота:

– Петр! Петр! Ошалел, что ли? Закрывай! Закрывай ворота!

В подъезде грохнула дверь, и слышно было, как на темной лестнице гулкий женский голос прокричал:

– Петлюра идет. Петлюра!

Чем дальше убегал Николка на спасительный Подол, указанный Най-Турсом, тем больше народу летало, и суетилось, и моталось по улицам, но страху уже было меньше, и не все бежали в одном направлении с Николкой, а некоторые проносились навстречу.

У самого спуска на Подол из подъезда большого серокаменного дома вышел торжественно кадетишка в серой шинели с белыми погонями и золотой буквой «В» на них. Нос у

кадетика был пуговицей. Глаза его бойко шныряли по сторонам, и большая винтовка сидела у него за спиной на ремне. Прохожие сновали, с ужасом глядели на вооруженного кадета и разбегались. А кадет постоял на тротуаре, прислушался к стрельбе в верхнем Городе с видом значительным и разведочным, потянул носом и захотел куда-то двинуться. Николка резко оборвал маршрут, двинул поперек тротуара, напер на кадетика грудью и сказал шепотом:

– Бросайте винтовку и немедленно прячьтесь.

Кадетишка вздрогнул, испугался, отшатнулся, но потом угрожающе ухватился за винтовку. Николка же старым испытанным приемом, напирая и напирая, вдавил его в подъезд и там уже, между двумя дверями, внул:

– Говорю вам, прячьтесь. Я – юнкер. Катастрофа. Петлюра Город взял.

– Как это так взял? – спросил кадет и открыл рот, причем оказалось, что у него нет одного зуба с левой стороны.

– А вот так, – ответил Николка и, махнув рукой по направлению верхнего Города, добавил: – Слышите? Там конница Петлюрина на улицах. Я еле спасся. Бегите домой, винтовку спрячьте и всех предупредите.

Кадет окоченел, и так окоченевшим его Николка и оставил в подъезде, потому что некогда с ним разговаривать, когда он такой непонятливый.

На Подоле не было такой сильной тревоги, но суета была, и довольно большая. Прохожие учащали шаги, часто задирала головы, прислушивались, очень часто выскакивали кухарки в подъезды и ворота, наскоро кутаясь в серые платки. Из верхнего Города непрерывно слышалось кипение пулеметов. Но в этот сумеречный час четырнадцатого декабря уже нигде, ни вдали, ни вблизи, не было слышно пушек.

Путь Николки был длинен. Пока он пересек Подол, сумерки совершенно закутали морозные улицы, и суету и тревогу смягчил крупный мягкий снег, полетевший в пятна света у фонарей. Сквозь его редкую сеть мелькали огни, в лавчонках и в магазинах весело светилось, но не во всех: некоторые уже ослепли. Все больше начинало лепить сверху. Когда Николка пришел к началу своей улицы, крутого Алексеевского спуска, и стал подниматься по ней, он увидел у ворот дома № 7 картину: двое мальчуганов в сереньких вязаных курточках и шлемах только что скатились на салазках со спуска. Один из них, маленький и круглый, как шар, залепленный снегом, сидел и хохотал. Другой, постарше, тонкий и серьезный, распутывал узел на веревке. У ворот стоял парень в тулупе и ковырял в носу. Стрельба стала слышнее. Она вспыхивала там, наверху, в самых разных местах.

– Васька, Васька, как я задницей об тумбу! – кричал маленький.

«Катаются мирно так», – удивленно подумал Николка и спросил у парня ласковым голосом:

– Скажите, пожалуйста, чего это стреляют там наверху?

Парень вынул палец из носа, подумал и сказал в нос:

– Офицерню бьют наши.

Николка исподлобья посмотрел на него и машинально пошевелил ручкой кольца в кармане. Старший мальчик отозвался сердито:

– С офицерами расправляются. Так им и надо. Их восемьсот человек на весь Город, а они дурака валяли. Пришел Петлюра, а у него миллион войска.

Он повернулся и потащил салазки.

Сразу распахнулась кремовая штора – с веранды в маленькую столовую. Часы... тонк-танк...

– Алексей вернулся? – спросил Николка у Елены.

– Нет, – ответила она и заплакала.

Темно. Темно во всей квартире. В кухне только лампа... сидит Аня и плачет, положив локти на стол. Конечно, об Алексее Васильевиче... В спальне у Елены в печке пылают дрова. Сквозь заслонку выпрыгивают пятна и жарко пляшут на полу. Елена сидит, наплакавшись об Алексее, на табуреточке, подперев щеку кулаком, а Николка у ее ног на полу в красном огненном пятне, расставив ноги ножницами.

Болботун... полковник. У Щегловых сегодня днем говорили, что это не кто иной, как великий князь Михаил Александрович. В общем, отчаяние здесь в полутьме и огненном блеске. Что ж плакать об Алексее? Плакать – это, конечно, не поможет. Убили его, несомненно. Все ясно. В плен они не берут. Раз не пришел, значит, попался вместе с дивизионом, и его убили. Ужас в том, что у Петлюры, как говорят, восемьсот тысяч войска, отборного и лучшего. Нас обманули, послали на смерть...

Откуда же взялась эта страшная армия?... Соткалась из морозного тумана в игольчатом синем и сумеречном воздухе... Ах, страшная страна Украина!..Туманно... туманно...

Елена встала и протянула руку.

– Будь прокляты немцы. Будь они прокляты. Но если только бог не накажет их, значит, у него нет справедливости. Возможно ли, чтобы они за это не ответили? Они ответят. Будут они мучиться так же, как и мы, будут.

Она упрямо повторяла «будут», словно заклинала. На лице и на шее у нее играл багровый цвет, а пустые глаза были окрашены в черную ненависть. Николка, растопырив ноги, впал от таких выкриков в отчаяние и печаль.

– Может, он еще и жив? – робко спросил он. – Видишь ли, все-таки он врач... Если даже и схватили, может быть, не убьют, а заберут в плен.

– Будут кошек есть, будут друг друга убивать, как и мы, – говорила Елена звонко и ненавистно грозила огню пальцами.

«Эх, эх... Болботун не может быть великий князь. Восемьсот тысяч войска не может быть и миллиона тоже... Впрочем, туман. Вот оно, налетело страшное времечко. И Тальберг-то, оказывается, умный, вовремя уехал. Огонь на полу танцует. Ведь вот же были мирные времена и прекрасные страны. Например, Париж и Людовик с образками на шляпе, и Клопен Трульефу полз и грелся в таком же огне. И даже ему, нищему, было хорошо. Ну нигде, никогда не было такого гнусного гада, как этот рыжий дворник Нерон. Все, конечно, нас ненавидят, но ведь он шакал форменный! Сзади за руку».

И вот тут за окнами забухали пушки. Николка вскочил и заметался.

– Ты слышишь? слышишь? слышишь? Может быть, это немцы? Может быть, союзники подошли на помощь? Кто? Ведь не могут же они стрелять по Городу, если они его уже взяли.

Елена сложила руки на груди и сказала:

– Никол, я тебя все равно не пушу. Не пушу. Умоляю тебя никуда не выходить. Не сходи с ума.

– Я только дошел бы до площадки у Андреевской церкви и оттуда посмотрел бы и послушал. Ведь виден весь Подол.

– Хорошо, иди. Если ты можешь оставить меня одну в такую минуту – иди.

Николка смутился.

– Ну, тогда я выйду только во двор послушаю.

– И я с тобой.

– Леночка, а если Алексей вернется, ведь с парадного звонка не услышим?

– Да, не услышим. И это ты будешь виноват.

– Ну, тогда, Леночка, я даю тебе честное слово, что я дальше двора шагу не сделаю.

– Честное слово?

– Честное слово.

- Ты за калитку не выйдешь? На гору лезть не будешь? Постоишь во дворе?
- Честное слово.
- Иди.

Густейший снег шел четырнадцатого декабря 1918 года и застилал Город. И эти странные, неожиданные пушки стреляли в девять часов вечера. Стреляли они только четверть часа.

Снег таял у Николки за воротником, и он боролся с соблазном влезть на снежные высоты. Оттуда можно было бы увидеть не только Подол, но и часть верхнего Города, семинарию, сотни рядов огней в высоких домах, холмы и на них домишки, где лампадками мерцают окна. Но честного слова не должен нарушать ни один человек, потому что нельзя будет жить на свете. Так полагал Николка. При каждом грозном и отдаленном грохоте он молился таким образом: «Господи, дай...»

Но пушки смолкли.

«Это были наши пушки», – горестно думал Николка. Возвращаясь от калитки, он заглянул в окно к Щегловым. Во флигельке, в окошке, завернулась беленькая шторка, и видно было: Марья Петровна мыла Петьку. Петька голый сидел в корыте и беззвучно плакал, потому что мыло залезло ему в глаза. Марья Петровна выжимала на Петьку губку. На веревке висело белье, а над бельем ходила и кланялась большая тень Марьи Петровны. Николке показалось, что у Щегловых очень уютно и тепло, а ему в расстегнутой шинели холодно.

В глубоких снегах, верстах в восьми от предместья Города, на севере, в сторожке, брошенной сторожем и заваленной наглухо белым снегом, сидел штабс-капитан. На столике лежала краюха хлеба, стоял ящик полевого телефона и малюсенькая трехлинейная лампочка с закопченным пузатым стеклом. В печке догорал огонек. Капитан был маленький, с длинным острым носом, в шинели с большим воротником. Левой рукой он щипал и ломал краюху, а правой жал кнопки телефона. Но телефон словно умер и ничего ему не отвечал.

Кругом капитана, верст на пять, не было ничего, кроме тьмы и в ней густой метели. Были сугробы снега.

Еще час прошел, и штабс-капитан оставил телефон в покое. Около девяти вечера он поспел носом и сказал почему-то вслух:

– С ума сойду. В сущности, следовало бы застрелиться. – И, словно в ответ ему, запел телефон.

– Это шестая батарея? – спросил далекий голос.

– Да, да, – с буйной радостью ответил капитан.

Встревоженный голос издали казался очень радостным и глухим:

– Откройте немедленно огонь по урочищу... – Далеким смутным собеседником квакал по нити, – ураганный... – Голос перерезало. – У меня такое впечатление... – И на этом голос опять перерезало.

– Да, слушаю, слушаю, – отчаянно скаля зубы, вскрикивал капитан в трубку. Прошла долгая пауза.

– Я не могу открыть огня, – сказал капитан в трубку, отлично чувствуя, что говорит он в полную пустоту, но не говорить не мог. – Вся моя прислуга и трое прапорщиков разбежались. На батарее я один. Передайте это на Пост.

Еще час просидел штабс-капитан, потом вышел. Очень сильно мело. Четыре мрачных и страшных пушки уже заносило снегом, и на дулах и у замков начало наметать гребешки. Крутило и вертело, и капитан тыкался в холодном визге метели, как слепой. Так в слепоте он долго возился, пока не снял на ощупь, в снежной тьме, первый замок. Хотел бросить его в колодезь за сторожкой, но раздумал и вернулся в сторожку. Выходил еще три раза и все четыре замка с орудий снял и спрятал в люк под полом, где лежала картошка. Затем ушел в

тму, предварительно задув лампу. Часа два он шел, утопая в снегу, совершенно невидимый и темный, и дошел до шоссе, ведущего в Город. На шоссе тускло горели редкие фонари. Под первым из этих фонарей его убили конные с хвостами на головах шашками, сняли с него сапоги и часы.

Тот же голос возник в трубке телефона в шести верстах от сторожки на запад, в землянке.

– Откройте... огонь по урочищу немедленно. У меня такое впечатление, что неприятель прошел между вами и нами на Город.

– Слушаете? слушаете? – ответили ему из землянки.

– Узнайте на Посту... – перерезало.

Голос, не слушая, заквакал в трубке в ответ:

– Беглым по урочищу... по коннице...

И совсем перерезало.

Из землянки с фонарями вылезли три офицера и три юнкера в тулупах. Четвертый офицер и двое юнкеров были возле орудий у фонаря, который метель старалась погасить. Через пять минут пушки стали прыгать и страшно бить в темноту. Мощным грохотом они наполнили всю местность верст на пятнадцать кругом, донесли до дома № 13 по Алексеевскому спуску... Господи, дай...

Конная сотня, вертясь в метели, выскочила из темноты сзади на фонари и перебила всех юнкеров, четырех офицеров. Командир, оставшийся в землянке у телефона, выстрелил себе в рот.

Последними словами командира были:

– Штабная сволочь. Отлично понимаю большевиков.

Ночью Николка зажег верхний фонарь в своей угловой комнате и вырезал у себя на двери большой крест и изломанную надпись под ним перочинным ножом:

п. Турс, 14-го дек. 1918 г. 4 ч. дня

«Най» откинул для конспирации, на случай, если придут с обыском петлюровцы.

Хотел не спать, чтобы не пропустить звонка. Елене в стену постучал и сказал:

– Ты спи, я не буду спать.

И сейчас же после этого заснул как мертвый, одетым, на кровати. Елена же не спала до рассвета и все слушала и слушала, не раздастся ли звонок. Но не было никакого звонка, и старший брат Алексей пропал.

Уставшему, разбитому человеку спать нужно, и уж одиннадцать часов, а все спится и спится... Оригинально спится, я вам доложу! Сапоги мешают, пояс впился под ребра, ворот душит, и кошмар уселся лапками на груди.

Николка завалился головой навзничь, лицо побагровело, из горла свист... Свист!.. Снег и паутина какая-то... Ну, кругом паутина, черт ее дери! Самое главное пробраться сквозь эту паутину, а то она, проклятая, нарастает, нарастает и подбирается к самому лицу. И, чего доброго, окутает так, что и не выберешься! Так и задохнешься. За сетью паутины чистейший снег, сколько угодно, целые равнины. Вот на этот снег нужно выбраться, и поскорее, потому что чей-то голос как будто где-то ахнул: «Никол!» И тут, вообразите, поймалась в эту паутину какая-то бойкая птица и застучала... Ти-ки-тики, тики, тики! Фью. Фи-у! Тики! Тики. Фу-ты, черт! Ее самое не видно, но свистит где-то близко, и еще кто-то плачется на свою судьбу, и опять голос: «Ник! Ник! Николка!!»

– Эх! – крикнул Николка, разодрал паутину и разом сел, всклокоченный, растерзанный, с бляхой на боку. Светлые волосы стали дыбом, словно кто-то Николку долго трепал.

– Кто? Кто? Кто? – в ужасе спросил Николка, ничего не понимая.

– Кто. Кто, кто, кто, кто, кто, так! так! Фи-ти! Фи-у! Фьюх! – ответила паутина, и скорбный голос сказал, полный внутренних слез:

– Да, с любовником!

Николка в ужасе прижался к стене и уставился на видение. Видение было в коричневом френче, коричневых же штанах-галифе и сапогах с желтыми жокейскими отворотами. Глаза, мутные и скорбные, глядели из глубочайших орбит невероятно огромной головы, коротко остриженной. Несомненно, оно было молодо, видение-то, но кожа у него была на лице старческая, серенькая, и зубы глядели кривые и желтые. В руках у видения находилась большая клетка с накинутым на нее черным платком и распечатанное голубое письмо...

«Это я еще не проснулся», – сообразил Николка и сделал движение рукой, стараясь разодрать видение, как паутину, и пребольно ткнулся пальцами в прутья. В черной клетке тотчас, как взбесилась, закричала птица и засвистала и затарахтела.

– Николка! – где-то далеко-далеко прокричал Еленин голос в тревоге.

«Господи Иисусе, – подумал Николка, – нет, я проснулся, но сразу же сошел с ума, и знаю отчего – от военного переутомления. Боже мой! И вижу уже чепуху... а пальцы? Боже! Алексей не вернулся... ах, да... он не вернулся... убили... ой, ой, ой!»

– С любовником на том самом диване, – сказала видение трагическим голосом, – на котором я читал ей стихи.

Видение оборачивалось к двери, очевидно, к какому-то слушателю, но потом окончательно устремилось к Николке:

– Да-с, на этом самом диване... Они теперь сидят и целуются... после векселей на семьдесят пять тысяч, которые я подписал не задумываясь, как джентльмен. Ибо джентльменом был и им останусь всегда. Пусть целуются!

«О, ей, ей», – подумал Николка. Глаза его выкатились и спина похолодела.

– Впрочем, извиняюсь, – сказала видение, все более и более выходя из зыбкого, сонного тумана и превращаясь в настоящее живое тело, – вам, вероятно, не совсем ясно? Так не угодно ли, вот письмо – оно вам все объяснит. Я не скрываю своего позора ни от кого, как джентльмен.

И с этими словами неизвестный вручил Николке голубое письмо. Совершенно ошалев, Николка взял его и стал читать, шевеля губами, крупный, разгонистый и взволнованный почерк. Без всякой даты на нежном небесном листке было написано:

«Милая, милая Леночка! Я знаю ваше доброе сердце и направляю его прямо к вам, по-родственному. Телеграмму я, впрочем, послала, он все вам сам расскажет, бедный мальчик. Лариосика постиг ужасный удар, и я долго боялась, что он не переживет его. Милочка Рубцова, на которой, как вы знаете, он женился год тому назад, оказалась подколодной змеей! Приютите его, умоляю, и согрейте так, как вы умеете это делать. Я аккуратно буду переводить вам содержание. Житомир стал ему ненавистен, и я вполне это понимаю. Впрочем, не буду больше ничего писать, – я слишком взволнована, и сейчас идет санитарный поезд, он сам вам все расскажет. Целую вас крепко, крепко и Сережу!»

После этого стояла неразборчивая подпись.

– Я птицу захватил с собой, – сказал неизвестный, вздыхая, – птица – лучший друг человека. Многие, правда, считают ее лишней в доме, но я одно могу сказать – птица уж, во всяком случае, никому не делает зла.

Последняя фраза очень понравилась Николке. Не стараясь уже ничего понять, он застенчиво почесал непонятным письмом бровь и стал спускать ноги с кровати, думая: «Неприлично... спросить, как его фамилия?... Удивительное происшествие...»

– Это канарейка? – спросил он.

– Но какая! – ответил неизвестный восторженно. – Собственно, это даже и не канарейка, а настоящий кенар. Самец. И таких у меня в Житомире пятнадцать штук. Я перевез их к маме, пусть она кормит их. Этот негодяй, наверное, посвертывал бы им шеи. Он ненавидит птиц. Разрешите поставить ее пока на ваш письменный стол?

– Пожалуйста, – ответил Николка. – Вы из Житомира?

– Ну да, – ответил неизвестный, – и, представьте, совпадение: я прибыл одновременно с вашим братом.

– Каким братом?

– Как с каким? Ваш брат прибыл вместе со мной, – ответил удивленно неизвестный.

– Какой брат? – жалобно вскричал Николка. – Какой брат? Из Житомира?!

– Ваш старший брат...

Голос Елены явственно выкрикнул в гостиной: «Николка! Николка! Илларион Ларионыч! Да будите же его! Будите!»

– Трики, фит, фит, трики! – протяжно заорала птица.

Николка уронил голубое письмо и пулей полетел через книжную в столовую и в ней замер, растопырив руки.

Алексей Турбин в черном чужом пальто с рваной подкладкой, в черных чужих брюках лежал неподвижно на диванчике под часами. Его лицо было бледно синеватой бледностью, а зубы стиснуты. Елена металась возле него, халат ее распахнулся, и были видны черные чулки и кружево белья. Она хваталась то за пуговицы на груди Турбина, то за руки, крича: «Никол! Никол!»

Через три минуты Николка в сдвинутой на затылок студенческой фуражке, в серой шинели нараспашку бежал, тяжело пыхтя, вверх по Алексеевскому спуску и бормотал: «А если его нету? Вот, боже мой, история с желтыми отворотами! Но Курицкого нельзя звать ни в коем случае, это совершенно ясно... Кит и кот...» Птица оглушительно стучала у него в голове – кити, кот, кити, кот!

Через час в столовой стоял на полу таз, полный красной жидкой водой, валялись комки красной рваной марли и белые осколки посуды, которую обрушил с буфета неизвестный с желтыми отворотами, доставая стакан. По осколкам все бегали и ходили с хрустом взад и вперед. Турбин, бледный, но уже не синеватый, лежал по-прежнему навзничь на подушке. Он пришел в сознание и хотел что-то сказать, но остробородый, с засученными рукавами, доктор в золотом пенсне, наклонившись к нему, сказал, вытирая марлей окровавленные руки:

– Помолчите, коллега...

Анюта, белая, меловая, с огромными глазами, и Елена, растрепанная, рыжая, подымали Турбина и снимали с него залитую кровью и водой рубаху с разрезанным рукавом.

– Вы разрежьте дальше, уж нечего жалеть, – сказал остробородый.

Рубаху на Турбине искромсали ножницами и сняли по кускам, обнажив худое желтоватое тело и левую руку, только что наглухо забинтованную до плеча. Концы драпок торчали вверху повязки и внизу. Николка стоял на коленях, осторожно расстегивая пуговицы, и снимал с Турбина брюки.

– Совсем раздевайте и сейчас же в постель, – говорил клинобородый басом. Анюта из кувшина лила ему на руки, и мыло ключьями падало в таз. Неизвестный стоял в сторонке, не принимая участия в толкотне и суете, и горько смотрел то на разбитые тарелки, то, краснея, на растерзанную Елену – капот ее совсем разошелся. Глаза неизвестного были увлажнены слезами.

Несли Турбина из столовой в его комнату все, и тут неизвестный принял участие: он подсунил руки под коленки Турбину и нес его ноги.

В гостиной Елена протянула врачу деньги. Тот отстранил рукой...

– Что вы, ей-богу, – сказал он, – с врача? Тут поважней вопрос. В сущности, в госпиталь надо...

– Нельзя, – донесся слабый голос Турбина, – нельзя в госпит...

– Помолчите, коллега, – отозвался доктор, – мы и без вас управимся. Да, конечно, я сам понимаю... Черт знает что сейчас делается в городе... – Он кивнул на окно. – Гм... пожалуй, он прав: нельзя... Ну, что ж, тогда дома... Сегодня вечером я приеду.

– Опасно это, доктор? – заметила Елена тревожно.

Доктор устался в паркет, как будто в блестящей желтизне и был заключен диагноз, крикнул и, покрутив бородку, ответил:

– Кость цела... Гм... крупные сосуды не затронуты... нерв тоже... Но нагноение будет... В рану попали клочья шерсти от шинели... Температура... – Выдавив из себя эти малопонятные обрывки мыслей, доктор повысил голос и уверенно сказал: – Полный покой... Морфий, если будет мучиться, я сам впрысну вечером. Есть – жидкое... ну, бульон дадите... Пусть не разговаривает много...

– Доктор, доктор, я очень вас прошу... он просил, пожалуйста, никому не говорить...

Доктор искоса закинул на Елену взгляд хмурый и глубокий и забурчал:

– Да, это я понимаю... Как это он подвернулся?...

Елена только сдержанно вздохнула и развела руками.

– Ладно, – буркнул доктор и боком, как медведь, полез в переднюю.

Часть III

12

В маленькой спальне Турбина на двух окнах, выходящих на стеклянную веранду, упали темненькие шторы. Комнату наполнил сумрак, и Еленина голова засветилась в нем. В ответ ей светилось беловатое пятно на подушке – лицо и шея Турбина. Провод от штепселя змеей сполз к стулу, и розовенькая лампочка в колпачке загорелась и день превратила в ночь. Турбин сделал знак Елене прикрыть дверь.

– Анюту сейчас же предупредить, чтобы молчала...

– Знаю, знаю... Ты не говори, Алеша, много.

– Сам знаю... Я тихонько... Ах, если рука пропадет!

– Ну что ты, Алеша... лежи, молчи... Пальто-то этой дамы у нас пока будет?

– Да, да. Чтобы Николка не вздумал тащить его. А то на улице... Слышишь? Вообще, ради бога, не пускай его никуда.

– Дай бог ей здоровья, – искренне и нежно сказала Елена, – вот, говорят, нет добрых людей на свете...

Слабенькая краска выступила на скулах раненого, и глаза уперлись в невысокий белый потолок, потом он перевел их на Елену и, поморщившись, спросил:

– Да, позвольте, а что это за головастик?

Елена наклонилась в розовый луч и вздернула плечами.

– Понимаешь, ну, только что перед тобой, минутки две, не больше, явление: Сережин племянник из Житомира. Ты же слышал: Суржанский... Ларион... Ну, знаменитый Лариосик.

– Ну?...

– Ну, приехал к нам с письмом. Какая-то драма у них. Только что начал рассказывать, как она тебя привезла.

– Птица какая-то, бог его знает...

Елена со смехом и ужасом в глазах наклонилась к постели:

– Что птица!.. Он ведь жить у нас просится. Я уж не знаю, как и быть.

– Жи-ить?...

– Ну да... Только молчи и не шевелись, прошу тебя, Алеша... Мать умоляет, пишет, ведь этот самый Лариосик кумир ее... Я такого балбеса, как этот Лариосик, в жизнь свою не видала. У нас он начал с того, что всю посуду расхлопал. Синий сервиз. Только две тарелки осталось.

– Ну вот. Я уж не знаю, как быть...

В розовой тени долго слышался шепот. В отдалении звучали за дверями и портьерами глухо голоса Николки и неожиданного гостя. Елена простирала руки, умоляя Алексея говорить поменьше. Слышался в столовой хруст – взбудораженная Анюта выметала синий сервиз. Наконец было решено в шепоте. Ввиду того, что теперь в городе будет происходить черт знает что и очень возможно, что придут реквизируют комнаты, ввиду того, что денег нет, а за Лариосика будут платить, – пустить Лариосика. Но обязать его соблюдать правила турбинской жизни. Относительно птицы – испытать. Ежели птица несносна в доме, потребовать ее удаления, а хозяина ее оставить. По поводу сервиза, ввиду того, что у Елены, конечно, даже язык не повернется и вообще это хамство и мешанство, – сервиз предать забвению. Пустить Лариосика в книжную, поставить там кровать с пружинным матрацем и столик...

Елена вышла в столовую. Лариосик стоял в скорбной позе, повесив голову и глядя на то место, где некогда на буфете помещалось стопкой двенадцать тарелок. Мутно-голубые глаза

выражали полную скорбь. Николка стоял напротив Лариосика, открыв рот и слушая какие-то речи. Глаза у Николки были наполнены напряженнейшим любопытством.

– Нету кожи в Житомире, – растерянно говорил Лариосик, – понимаете, совершенно нету. Такой кожи, как я привык носить, нету. Я кликнул клич сапожникам, предлагая какие угодно деньги, но нету. И вот пришлось...

Увидя Елену, Лариосик побледнел, переступил на месте и, глядя почему-то вниз на изумрудные кисти капота, заговорил так:

– Елена Васильевна, сию минуту я еду в магазины, кликну клич, и у вас будет сегодня же сервис. Я не знаю, что мне и говорить. Как перед вами извиниться? Меня, безусловно, следует убить за сервис. Я ужасный неудачник, – отнесся он к Николке. – И сейчас же в магазины, – продолжал он Елене.

– Я вас очень прошу ни в какие магазины не ездить, тем более что все они, конечно, закрыты. Да позвольте, неужели вы не знаете, что у нас в Городе происходит?

– Как же не знать! – воскликнул Лариосик. – Я ведь с санитарным поездом, как вы знаете из телеграммы.

– Из какой телеграммы? – спросила Елена. – Мы никакой телеграммы не получили.

– Как? – Лариосик открыл широкий рот. – Не получили? А-га! То-то я смотрю, – он повернулся к Николке, – что вы на меня с таким удивлением... Но позвольте... Мама дала вам телеграмму в шестьдесят три слова.

– Ц... ц... Шестьдесят три слова! – поразился Николка. – Какая жалость. Ведь телеграммы теперь так плохо ходят. Совсем, вернее, не ходят.

– Как же теперь быть? – огорчился Лариосик. – Вы разрешите мне у вас?... – Он беспомощно огляделся, и сразу по глазам его было видно, что у Турбиных ему очень нравится и никуда он уходить бы не хотел.

– Все устроено, – ответила Елена и милостиво кивнула, – мы согласны. Оставайтесь и устраивайтесь. Видите, у нас какое несчастье...

Лариосик огорчился еще больше. Глаза его заволокло слезной дымкой.

– Елена Васильевна! – с чувством сказал он. – Располагайте мной, как вам угодно. Я, знаете ли, могу не спать по три и четыре ночи подряд.

– Спасибо, большое спасибо.

– А теперь, – Лариосик обратился к Николке, – не могу ли я у вас попросить ножницы?

Николка, взъерошенный от удивления и интереса, слетал куда-то и вернулся с ножницами. Лариосик взялся за пуговицу френча, поморгал глазами и опять обратился к Николке:

– Впрочем, виноват, на минутку в вашу комнату...

В Николкиной комнате Лариосик снял френч, обнаружив необыкновенно грязную рубашку, вооружился ножницами, вспорол черную лоснящуюся подкладку френча и вытащил из-под нее толстый зелено-желтый сверток денег. Этот сверток он торжественно принес в столовую и выложил перед Еленой на стол, говоря:

– Вот, Елена Васильевна, разрешите вам сейчас же внести деньги за мое содержание.

– Почему же такая спешность, – краснея, спросила Елена, – это можно было бы и после...

Лариосик горячо запротестовал:

– Нет, нет, Елена Васильевна, вы уж, пожалуйста, примите сейчас. Помилуйте, в такой трудный момент деньги всегда остро нужны, я это прекрасно понимаю! – Он развернул пакет, причем изнутри выпала карточка какой-то женщины. Лариосик проворно подобрал ее и со вздохом спрятал в карман. – Да оно и лучше у вас будет. Мне что нужно? Мне нужно будет папирос купить и канареечного семени для птицы...

Елена на минуту забыла рану Алексея, и приятный блеск показался у нее в глазах, настолько обстоятельны и уместны были действия Лариосика.

«Он, пожалуй, не такой балбес, как я первоначально подумала, – подумала она, – вежлив и добросовестен, только чудак какой-то. Сервиз безумно жаль».

«Вот тип», – думал Николка. Чудесное появление Лариосика вытеснило в нем его печальные мысли.

– Здесь восемь тысяч, – говорил Лариосик, двигая по столу пачку, похожую на яичницу с луком, – если мало, мы подсчитаем, и сейчас же я выпишу еще.

– Нет, нет, потом, отлично, – ответила Елена. – Вы вот что: я сейчас попрошу Анюту, чтобы она истопила вам ванну, и сейчас же купайтесь. Но скажите, как же вы приехали, как же вы пробрались, не понимаю? – Елена стала комкать деньги и прятать их в громадный карман капота.

Глаза Лариосика наполнились ужасом от воспоминания.

– Это кошмар! – воскликнул он, складывая руки, как католик на молитве. – Я ведь девять дней... нет, виноват, десять?... позвольте... воскресенье, ну да, понедельник... одиннадцать дней ехал от Житомира!..

– Одиннадцать дней! – вскричал Николка. – Видишь! – почему-то укоризненно обратился он к Елене.

– Да-с, одиннадцать... Выехал я, поезд был гетманский, а по дороге превратился в петлюровский. И вот приезжаем мы на станцию, как ее, ну, вот, ну, господи, забыл... все равно... и тут меня, вообразите, хотели расстрелять. Явились эти петлюровцы, с хвостами...

– Синие? – спросил Николка с любопытством.

– Красные... да, с красными... и кричат: слазь! Мы тебя сейчас расстреляем! Они решили, что я офицер и спрятался в санитарном поезде. А у меня протекция просто была... у мамы к доктору Курицкому.

– Курицкому? – многозначительно воскликнул Николка. – Тэк-с, – кот... и кит. Знаем.

– Кити, кот, кити, кот, – за дверями глухо отозвалась птичка.

– Да, к нему... он и привел поезд к нам в Житомир... Боже мой! Я тут начинаю богу молиться. Думаю, все пропало! И, знаете ли? птица меня спасла. Я говорю, я не офицер. Я ученый-птицевод, показываю птицу... Тут, знаете, один ударил меня по затылку и говорит так нагло – иди себе, бисов птицевод. Вот наглец! Я бы его убил, как джентльмен, но сами понимаете...

– Еле... – глухо послышалось из спальни Турбина. Елена быстро повернулась и, не дослушав, бросилась туда.

Пятнадцатого декабря солнце по календарю угасает в три с половиной часа дня. Сумерки поэтому побежали по квартире уже с трех часов. Но на лице Елены в три часа дня стрелки показывали самый низкий и угнетенный час жизни – половину шестого. Обе стрелки прошли печальные складки у углов рта и стянулись вниз к подбородку. В глазах ее началась тоска и решимость бороться с бедой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.